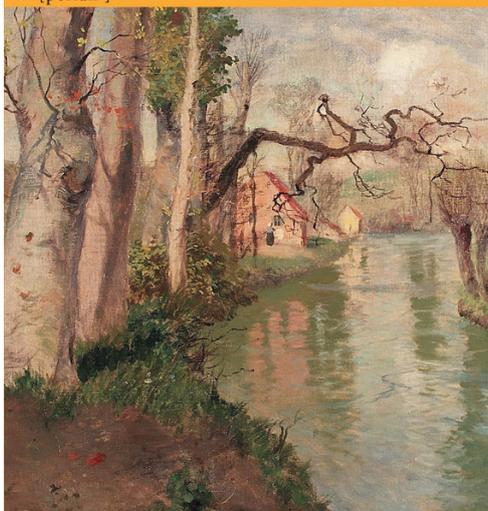


Мэрилин
Робинсон



Галаад

[роман]



Мэрилин Робинсон
Галаад

«АСТ»

2004

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Робинсон М.

Галаад / М. Робинсон — «АСТ», 2004 — (XXI век – The Best)

На склоне лет священник Джон Эймс рассказывает историю рода, охватившую весь девятнадцатый и половину двадцатого века, своему семилетнему сыну – ребенку, который стоит у дверей в новый мир. Эймс понимает, что не увидит его взросления и не сможет поддержать, когда судьба начнет посылать ему испытания, но вера в то, что главное в этой жизни всегда неизменно, служит поддержкой ему самому. И с этой верой он пишет к сыну и рассказывает ему историю стойкости, любви и надежды, призванную дать мудрый совет, уберечь – и пожелать доброго пути.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

© Робинсон М., 2004

© АСТ, 2004

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

35

Мэрилин Робинсон

Галаад

Marilynne Robinson
GILEAD

© Marilynne Robinson, 2004

© Перевод. Е. Филиппова, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

* * *

*Посвящается моим дорогим родителям – Джону и Элен
Саммерс*

Вчера вечером я сказал тебе, что, возможно, уйду через какое-то время, и ты спросил:
– Куда?

И я ответил:

– Я уйду к Господу.

И ты спросил:

– Почему?

И я сказал:

– Потому что я уже старый.

И ты возразил:

– Я думаю, ты не старый. – И, вложив свою руку в мою, добавил: – Ты не очень старый, – как будто это все объясняло.

Я сказал тебе, что, быть может, твоя жизнь будет сильно отличаться от моей и от той жизни, что мы прожили вместе, и это чудесно: есть много возможностей прожить жизнь хорошо.

А ты ответил:

– Мама уже говорила мне это. – А потом ты сказал: – Не смейся! – потому что думал, как будто я смеюсь над тобой. Ты потянулся ко мне и приложил пальцы к моим губам и посмотрел на меня с таким выражением, которого я не видел ни на одном лице, кроме лица твоей матери. Некая разъяренная гордость, неистовая и безжалостная. Всякий раз я недоумеваю, как она своим испепеляющим взором не спалила мне брови. Мне будет не хватать этих взглядов.

Глупо подозревать, будто усопшим может чего-то не хватать. Если ты читаешь это письмо, будучи взрослым мужчиной, – а я надеюсь, так и случится, – к тому моменту меня не будет уже много лет. Я буду знать большую часть из того, что известно мертвым, но, скорее всего, оставлю эти сведения при себе. Похоже, именно так и должно быть.

Не знаю, сколько раз люди спрашивали меня, что такое смерть, иногда за час или два до того, как узнавали это сами. Даже когда я был молод, люди, которым было столько же лет, сколько мне сейчас, задавали вопросы, хватали меня за руку и буравили стариковскими глазами, покрытыми пеленой, как будто знали, что мне все известно, и собирались *заставить* меня рассказать правду. Раньше я говорил: это примерно то же самое, что вернуться домой. В этом мире у нас дома нет, говорил я, а потом отправлялся знакомой дорогой в свое жилище, готовил себе кофе, бутерброд с яичницей и слушал радио, когда оно только появилось, чаще всего в темноте. Помнишь этот дом? Думаю, помнишь, хотя бы немного. Мое

детство прошло в домах приходских священников. Большую часть жизни я провел в этом доме, а в несметном числе других подобных жилищ побывал в качестве гостя: друзья моего отца и многие родственники тоже жили при церкви. И, когда я задумывался об этом в те годы, а это случалось нечасто, мне казалось, что это худший дом из всех – самый унылый и открытый всем ветрам. Что ж, так я тогда думал. Это замечательный старый дом, но в те времена я сидел тут совсем один. И потому дом казался мне чужим. Я не знал, каково мое место в мире, и чувствовал себя неуютно. Теперь все иначе.

Но теперь мне говорят, что сердце у меня сдает. Врач поставил диагноз *angina pectoris*, или стенокардия, звучит как теологический термин, наподобие «мизерокардии»¹. Что ж, в мои годы это неудивительно. Мой отец умер в почтенном возрасте, а вот его сестры прожили недолгую жизнь. Так что я должен испытывать чувство благодарности. Еще мне действительно жаль, что я почти ничего не могу оставить тебе и твоей матери. Лишь пару старых книг, которые больше никому не нужны. Я не имел заработков, которыми стоило бы гордиться, и никогда не обращал внимания на деньги, которые оказывались в моем распоряжении. Меньше всего я думал о том, что у меня останутся жена и ребенок, поверь. Я был бы лучшим отцом, если бы знал. Я бы что-то припас для вас.

Это самое главное, о чем я хочу сказать: мне очень жаль, что тебе и твоей матери, как я знаю, пришлось пережить тяжелые времена без достойной поддержки с моей стороны, если не считать молитв – я ведь все время молюсь. Я делал это, пока жил, и продолжаю делать и сейчас, если это возможно в следующей жизни.

Я слышу, как ты разговариваешь с матерью: ты спрашиваешь – она отвечает. Я слышу не слова, а лишь звук ваших голосов. Ты не любишь ложиться спать, и каждый вечер ей приходится в очередной раз уговаривать тебя отойти ко сну. Я никогда не слышу, как она поет, только по вечерам, когда она баюкает тебя в соседней комнате. И даже тогда я не могу разобрать, какую песню она поет. Она поет очень тихо. Мне кажется, у нее прекрасно получается, но когда я говорю ей об этом, она смеется.

На самом деле я больше не могу судить, что прекрасно, а что – нет. На днях на улице я прошел мимо двух молодых людей. Я знаю, кто они, – оба работают в гараже. Они не ходят в церковь, ни тот, ни другой, – приличные, хотя и не самые честные, молодые парни, которые жить не могут без шуток. И вот они стояли, опершись на стену гаража, в солнечном свете и покуривали. Они всегда такие черные от машинного масла и так пропитаны бензином, что я поражаюсь, как они сами не загораются. Они отпускали шуточки, как обычно, и заходились недобрый смехом. И я увидел в этом красоту. Изумительно наблюдать за тем, как люди смеются, всецело отдаваясь этому процессу. Иногда им действительно тяжело побороть порыв разразиться хохотом. Я довольно часто наблюдаю такое явление в церкви. Поэтому мне интересно, что это такое и откуда берется, и еще мне интересно, что именно смех изгоняет из тела, ведь ты не можешь остановиться, пока не закончишь. В некотором роде, я полагаю, это сродни потребности выплакаться, только смех люди растрачивают с большей легкостью.

Завидев меня, они, разумеется, перестали шутить, но я видел, что про себя они продолжают смеяться, задаваясь вопросом, что долетело до ушей старого проповедника.

Мне так хотелось сказать им, что я тоже могу оценить хорошую шутку, как любой другой. В жизни меня много раз посещало желание сказать это. Но люди не готовы с этим мириться. Они хотят, чтобы ты держался в стороне. Мне хотелось сказать: «Я уже умираю, и у меня осталось не так много возможностей посмеяться, по крайней мере в этом мире». Но, услышав такое, они приняли бы серьезный вид и стали бы вести себя с подчеркнутой вежливостью, я полагаю. Я буду молчать о своей болезни, сколько смогу. Для умирающего я чувствую себя неплохо и благодарен за это Господу. Разумеется, твоя мать обо всем знает.

¹ Мизерокардия (от лат. *misericordia*) – «милосердие». – *Здесь и далее примеч. пер.*

Она сказала, если я хорошо себя чувствую, быть может, врач ошибается. Но, когда человек находится в таком возрасте, как я, доктор вряд ли может сильно ошибаться.

Вот что самое странное в жизни священника. Люди меняют тему разговора, когда видят, что ты приближаешься. А иногда те же самые люди приходят к тебе и рассказывают самые удивительные истории. Очень многое скрыто под фасадом, и все знают об этом. Бездна зла, и ужаса, и вины, и одиночества – все это там, где ты точно не рассчитывал их найти.

Отец моей матери был проповедником, отец моего отца – тоже, как и его отец, а до этого – кто его знает... Но догадаться можно без труда. Проповедничество было для них второй натурой, как и для меня. Все они были хорошими людьми, но если мне и стоило перенять у них одно умение, которым я так и не овладел, то это способность держать себя в руках. Это мудрость, которую я должен был постичь много лет назад. Даже сейчас, когда учащенный пульс навевает мне мысли о вечном, я выхожу из себя, если застрял ящик в шкафу или я положил очки не на то место. Я рассказываю тебе об этом, для того чтобы ты не допускал развития такой дурной привычки.

Неистовый гнев, который проявляется слишком часто или в неподходящий момент, может разрушить гораздо больше, чем ты представляешь. И наибольшее внимание уделяй тому, что говоришь. «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса неправды»², – вот в чем истина. Когда мой отец состарился, он написал об этом в письме, которое отправил мне. И, как у меня случилось, я его сжег. Бросил письмо его прямо в камин. И тогда мой поступок удивил меня намного больше, чем удивляет сейчас, когда я вспоминаю об этом.

Полагаю, самое время провести эксперимент над откровенностью. Теперь я говорю все это с должным уважением. Мой отец был из тех людей, которые, как он сам говорил, живут по принципам. Во всех поступках он старался оставаться верным истине, как он ее понимал. Но что-то в манере его повествования об этом предмете разочаровывало и, должен признаться, не только меня. Я говорю это, несмотря на все то внимание и время, которые он посвятил моему воспитанию. За это я навеки в долгу перед ним, хотя он сам мог бы с этим поспорить. Упокой Господь его душу, ибо я точно знаю, что разочаровал его. Удивительно размышлять об этом. Мы желали друг другу только добра.

Что ж, «слухом услышите, и не уразумеете: и глазами смотреть будете, и не увидите»³, как учит нас Господь. Я не могу утверждать, что постиг смысл этих слов, хотя не счесть, сколько раз их слышал и ссылался на них в проповедях. Это всего лишь заявление о глубоко загадочном факте. Можно знать что-то о смерти и оставаться во всех отношениях невежественным в этом предмете. Человек может знать собственного отца или сына, но их не будет связывать ничего, кроме верности, любви и взаимного непонимания.

Я упомянул об этом лишь для того, чтобы сказать: люди, которые испытывают некое сожаление по отношению к тебе, будут думать, что ты злишься, и различат гнев в том, что ты делаешь, даже если ты спокойно живешь по своему усмотрению. Они заставят тебя сомневаться в себе, что, в зависимости от тяжести ситуации, может привести к серьезному помрачению рассудка и потере времени. Жаль, я не понял этого раньше. Даже вспоминая об этом, я чувствую, как прихожу в ярость. Раздражение – форма гнева, я это признаю.

Одно из великих преимуществ, которые дает служение Богу, состоит в том, что такое призвание учит тебя сосредотачиваться. Ты начинаешь различать, что действительно нужно сделать, а что можно спокойно проигнорировать. Если я могу передать тебе хоть какую-то мудрость, то этот секрет – самый главный.

² Писание ап. Иакова, 3:5, 6.

³ Евангелие от Матфея, 13:14.

Ты благословляешь наш дом своим присутствием чуть меньше семи лет, и для меня это не самые здоровые годы, ведь моя жизнь клонится к закату. Когда ты появился, я уже не мог изменить привычный уклад, чтобы обеспечить вас обоих. И все равно я думаю об этом и молюсь. Я очень часто размышляю об этом. Хочу, чтобы ты это знал.

Выдалась прекрасная весна, и на дворе стоит очередной прекрасный день. Ты почти опоздал в школу. Мы поставили тебя на стул, и ты жевал тост с джемом, пока мама чистила тебе туфли, а я причесывал волосы. Тебе задали целую страницу примеров, которые ты должен был решить вчера вечером, а ты корпел над ними с утра в поиске верных вариантов ответа. Ты похож на мать – так же серьезно ко всему относишься. Старики прозвали тебя «дьякон», но эта серьезность передалась не по моей линии. Я никогда не видел ничего подобного, пока не повстречал твою маму. Впрочем, это справедливо, если не считать дедушку. Я не мог понять, что вижу перед собой – ярость или грусть, – и недоумевал, какое событие из жизни навеки отпечаталось у нее в глазах. А потом, когда тебе было около трех лет – совсем еще кроха, – я как-то утром зашел в детскую. Ты сидел на полу в лучах солнечного света в пижамке с кнопками, пытаюсь разобраться, как починить сломанный восковой мелок. И ты поднял на меня глаза и одарил тем же самым взглядом. Я много раз вспоминал это мгновение. Могу признаться: иногда мне казалось, что ты смотрел сквозь саму жизнь, видя несчастья, от которых я молил Бога тебя уберечь, и просил меня любезно объяснить, что происходит.

«Ты совсем как они, все эти старики из Библии», – говорит мне твоя мама. Это было бы правдой, если бы я умудрился прожить сто двадцать лет и, быть может, обзавестись парочкой коров и быков, а также слуг и прислужниц. Отец оставил мне профессию, которая оказалась моим призванием. Но факт в том, что оно было моей второй натурой, я с ним вырос. А ты – навряд ли.

Я увидел, как мимо окна пролетел мыльный пузырь, пухлый и дрожащий, дозревший до цвета синей стрекозы, который пузыри принимают перед тем, как лопнуть. И я посмотрел вниз и увидел тебя и твою мать: вы пускали мыльные пузыри прямо в кошку, заполняя ими все вокруг, так что бедное создание было вне себя от восторга. Она просто кувыркалась в воздухе, наша беззаботная Соупи! Часть пузырей летала меж ветвей, другие поднимались над кронами деревьев. Вы оба были слишком заняты кошкой, чтобы заметить небесные последствия своих земных дел. Они были так прекрасны. На маме было синее платье, а на тебе – красная рубашка, и вы опускались на колени прямо на землю, а Соупи ютилась между вами, и вся эта сверкающая масса пузырей уносилась вверх, и повсюду звучал смех. Ах, эта жизнь, этот мир...

Мама сказала тебе, что я пишу твою родословную, и тебе, похоже, очень понравилась эта затея. Итак, что мне написать для тебя? Я, Джон Эймс, родился в 1880 году от Рождества Христова в штате Канзас. Я сын Джона Эймса и Марты Тернер Эймс, внук Джона Эймса и Маргарет Тодд Эймс. На момент составления этого письма я прожил семьдесят шесть лет, семьдесят четыре из которых провел здесь, в Галааде, штат Айова, за исключением учебы в колледже и семинарии.

Что еще тебе рассказать?

Когда мне было двенадцать, отец отвел меня на могилу деда. К тому времени моя семья прожила в Галааде около десяти лет, и отец служил в местной церкви. Его отец, который родился в штате Мэн и приехал в Канзас в 1830-х, жил с нами уже несколько лет после выхода на пенсию. Потом старик сбежал, чтобы стать кем-то вроде странствующего проповедника, по крайней мере, мы так думали. Он умер в Канзасе и там же обрел вечное пристанище рядом с городком, в котором почти не осталось людей. Засуха изгнала большинство

тех, кто еще не переехал в селения поближе к железной дороге. Разумеется, городок образовался на этом месте лишь потому, что дело было в Канзасе и там селились люди, которые осваивали «свободные земли»⁴ и не особенно задумывались о будущем. Я не часто использую выражение «Богом забытый», но, когда думаю об этом месте, именно эти слова приходят на ум. Отцу потребовались месяцы на то, чтобы узнать, где упокоился с миром старик: бесчисленные запросы в церкви, газеты и так далее. Он вложил в это массу усилий. Наконец кто-то отозвался и прислал нам маленькую посылку с часами, потертой старой Библией и какими-то конвертами, в которых, как я узнал позже, хранились лишь несколько из многочисленных запросов отца о помощи в розыске деда. Их, несомненно, передавали старику добрые люди в надежде убедить его вернуться домой.

Моего отца глубоко печалило то, что последние слова, с которыми он обратился к своему отцу, были произнесены в гневе и в этой жизни между ними никогда не наступит примирение. Он действительно уважал отца, и ему было тяжело принять то, что все закончилось именно так.

Все это происходило в 1892 году, когда путешествовать было довольно сложно. Мы доехали на поезде так далеко, как только могли, а потом отец арендовал фургон с упряжкой лошадей. Все это превышало наши потребности, но ничего другого найти не удалось. Мы пару раз поехали неверной дорогой и заблудились, да и с лошадьми нам пришлось тяжело – их надо было все время поить. В итоге мы оставили их на попечение какому-то фермеру и дальше отправились пешком. Дороги были ужасны: те, по которым часто ходят, утопали в пыли, а те, что не пользовались популярностью, были изрезаны колеями. Мой отец нес в рогожном мешке инструменты, на случай если понадобится навести на могиле порядок, а я таскал то, что у нас считалось едой, – сухой паек: вяленое мясо и пару мелких желтых яблок, которые мы сорвали по дороге. Еще в моем мешке лежали рубашки и носки на смену, только к тому времени они были уже грязные.

На самом деле в то время у отца не хватало денег на поездку, но он так много думал о ней, что никак не мог подождать, пока накопит нужную сумму. Я сказал ему, что тоже должен ехать, и он с уважением отнесся к моему желанию, хотя это осложнило наше путешествие. Моя мать читала о том, что к западу от нас выдалась страшная засуха, и отнюдь не обрадовалась, когда отец сказал, что собирается взять меня с собой. Он объяснил ей, что поездка будет носить образовательный характер, и, разумеется, так оно и было. Мой отец твердо вознамерился найти эту могилу, несмотря на любые трудности. Никогда раньше в жизни я не задавался вопросом, где буду к тому моменту, когда сделаю следующий глоток воды. И я считаю так: раз с тех пор мне ни разу не пришлось задуматься об этом, значит, это один из даров, что ниспослал мне Господь. Иногда мне действительно казалось, что мы пройдем еще немного и умрем. Однажды, когда отец собирал палки для костра и подавал их мне, он сказал, что мы как Авраам и Исаак на пути к горе Мориа. Я и сам так думал.

Дела обстояли так плохо, что мы не могли купить еды. Мы остановились у фермы и обратились к хозяйке, а она вытащила из шкафа сверток и показала нам пару монет и купюр со словами: «Я с таким же успехом могла бы пойти в магазин с деньгами Конфедерации». Большой магазин закрылся, и она не могла купить ни соли, ни сахара, ни муки. Мы обменяли наше жалкое вяленое мясо – с тех пор я его не выношу – на два вареных яйца и две вареные картошки, которые даже без соли показались мне необыкновенно вкусными.

Потом отец стал расспрашивать ее о своем отце, и она сказала: «Что ж, да, он бывал в наших краях». Она не знала, что он умер, зато ей было известно, где его могли похоронить. Она показала нам едва сохранившуюся дорогу, которая должна была привести нас прямо в нужное место. От фермы идти предстояло не больше трех миль. Дорога поросла травой,

⁴ Свободные земли – территории на западе США, где рабовладение было запрещено еще до Гражданской войны.

но, когда мы пошли по ней, я все равно увидел борозды. В них трава была ниже, потому что земля оставалась слишком плотной. Мы дважды обошли кладбище. Два или три надгробия упали, а все кладбище поросло травой и сорняками. На третий раз отец заметил столб ограды, мы подошли к нему и увидели горстку могил, ряд из семи или, быть может, восьми, надгробий, а за ними – еще полряда под мертвой бурой травой. Я помню, что этот неполный ряд навеял на меня грустные мысли. Во втором ряду мы нашли табличку, которую кто-то смастерил из куска коры, забив в него гвозди и загнув их так, чтобы они превратились в надпись: «ПРЕП ЭЙМС». «Р» больше походила на «А», а «С» – на перевернутую «З», но ошибки быть не могло.

Уже наступил вечер, и мы вернулись на ферму той же женщины и помылись в ее баке, попили из ее колодца и поспали на ее сеновале. На ужин она накормила нас кукурузной кашей. Я полюбил эту женщину, как вторую мать. Полюбил до слез. Мы встали еще до рассвета, чтобы подоить коров и принести ей ведро воды, а она встретила нас у двери с завтраком из жареных кукурузных лепешек, намазанных конфитюром и украшенных ложечкой сливок. Мы так и ели, стоя на веранде в холоде и темноте, и это было совершенно чудесно.

Потом отец вернулся на кладбище, которое представляло собой всего лишь клочок земли, окруженный полуразвалившимся забором с воротами, связанными цепью с альпийским колокольчиком. Мы с отцом подлатали забор, как могли. Он слегка взрыхлил землю на могиле складным ножом. Потом отец решил еще раз сходить на ферму и одолжить пару мотыг, чтобы нам было легче. Он сказал: «Мы вполне можем присмотреть за этими ребятами, пока мы здесь». На этот раз нас ждал ужин в виде рагу из фасоли. Я не помню, как звали ту женщину, и очень сожалею об этом. У нее не хватало двух фаланг на одном указательном пальце, а еще она шепелявила. Тогда она показалась мне старой, но, теперь я думаю, это была всего лишь деревенская женщина, пытавшаяся сохранить достоинство и рассудок в стараниях выжить, женщина, которая очень устала и осталась совершенно одна. Отец сказал, ее акцент напоминает речь жителей штата Мэн, но напрямую не спрашивал ее об этом. Она расплакалась, когда мы стали прощаться, и вытерла лицо фартуком. Отец спросил, не хочет ли она передать с нами кому-нибудь письмо или записку, но она отказалась. Он поинтересовался, не желает ли она присоединиться к нам, она поблагодарила, покачала головой и произнесла: «У меня же корова». Потом добавила: «Все наладится, когда придут дожди».

Это кладбище было самым одиноким местом на свете, которое только можно представить. Но, если бы я сказал, что оно вскоре могло слиться с природой, тебе показалось бы, как будто в нем чувствовалась какая-то жизнь. Однако вся земля растрескалась и была иссушена солнцем. Сложно было вообразить, что эта трава когда-то была зеленой. Куда бы ты ни ступил, в воздух поднимались десятки маленьких кузнечиков, стрекоча так, словно кто-то чиркал спичкой. Отец засунул руки в карманы, огляделся и покачал головой. Потом он начал косить траву серпом, который принес с собой, и мы заново установили упавшие опознавательные знаки. Большинство могил были отмечены одними камнями: ни имен, ни дат – абсолютно ничего. Отец сказал, чтобы я следил, куда наступаю. Повсюду располагались небольшие захоронения, которые я сначала не замечал или не понимал, что они там есть. Разумеется, я не хотел по ним ходить, но, пока отец не срезал сорняки, не различал, где они, и только потом понял, что наступил на одну, и мне стало тошно. Только в детстве я испытывал такое чувство вины и жалости. Мне до сих пор это снится. Отец всегда говорил: когда кто-то умер, тело – это лишь ворох со старой одеждой, который больше не нужен душе. И вот мы нашли то, что искали. Поиск этой могилы едва не стоил нам жизни, и мы оберегали покой усопших и тщательно следили за тем, куда ставили ноги.

Нам пришлось потрудиться, чтобы все исправить. Стояла жара, кузнечики стрекотали что есть мочи, а ветер трепал сухую траву. Потом мы разбросали повсюду семена бергамота, рудбекии, подсолнуха, фиалок и душистого горошка. Эти семена мы всегда собирали в соб-

ственном саду и сохраняли их. Когда мы закончили, отец сел на землю у могилы деда. Он просидел там довольно долго, выдергивая маленькие соломинки, которые все еще торчали из могилы, и обмахиваясь шляпой. Думаю, он сожалел, что уже переделал здесь все дела. Наконец, он поднялся, отряхнулся, и так мы стояли вместе в насквозь пропотевшей затрапезной одежде, с перепачканными руками. И застрекотали первые сверчки, взволнованно стали сновать туда-сюда мухи, пронзительно закричали птицы, как они делают перед тем, как устроиться на ночь. Мой отец склонил голову и начал молиться, поминая отца перед Богом и прося прощения у Бога и у своего отца. Я сильно скучал по деду и тоже испытывал потребность попросить прощения. Но его молитва была очень долгой.

В том возрасте каждая молитва казалась мне долгой, к тому же я страшно устал. Я пытался держать глаза закрытыми, но через какое-то время мне пришлось оглядеться. И это я помню очень хорошо. Сначала я подумал, что мне показалось, как будто солнце садится на востоке. Я знал, где находился восток, потому что солнце как раз стояло над горизонтом, когда мы пришли на кладбище утром. Потом я осознал, что увидел полную луну, которая начала всходить, по мере того как солнце садилось. Оба светила касались линии горизонта, и между ними разливалось необыкновенное сияние. Казалось, до него можно дотронуться, словно осязаемые световые потоки ходили туда-сюда и их разделяли гигантские упругие ветви света. Я хотел, чтобы отец взглянул на это, но знал: мне придется отвлечь его от молитвы, и я хотел сделать это правильно, поэтому просто взял его за руку и поцеловал ее. А потом сказал: «Посмотри на луну». И он посмотрел. И мы стояли там до тех пор, пока солнце не село, а луна не взошла. Казалось, они так долго дрейфовали на линии горизонта... Видимо, потому что оба светила сияли так ярко, что невозможно было смотреть на них без отрыва. И эта могила, мой отец и я находились между ними, и это казалось мне удивительным, поскольку я не особенно много размышлял о том, что есть горизонт.

Отец сказал: «Никогда бы не подумал, что это место может быть прекрасным. Приятно это сознать».

Мы выглядели так ужасно, когда наконец добрались домой, что моя мать разрыдалась, увидев нас. Мы оба исхудали, а наша одежда превратилась в лохмотья. Все путешествие заняло чуть меньше месяца, но мы спали в амбарах и сараях, а порой и на голой земле в течение той недели, когда заблудились. По окончании поездки я понял, что это было невероятное приключение, и мы с отцом часто смеялись, вспоминая откровенно жуткие моменты. Один раз какой-то старик даже пустил в нас пулю. Отец, как он тогда говорил, намеревался подобрать пару переросших морковок в огороде, который попался нам по дороге. Обычно он оставлял десятицентовик на веранде в качестве платы за то, что бы мы ни украли, и обычно этого было достаточно. Вот это было зрелище: отец в рубашке с длинным рукавом пробирался через шаткий старый забор с букетом из морковной ботвы, а его уже взял на мушку человек сзади. Мы убежали в кусты, а когда решили, что он уже не преследует нас, сели на землю, и отец очистил морковку от грязи ножом, порезал ее на куски и разложил на тулье своей шляпы, которую поставил между нами, как стол. А потом он начал воздавать благодарности Господу, о чем никогда не забывал. Он сказал: «Благодарим за пищу, которую послал нам Господь», – а потом мы оба расхохотались, и смеялись до тех пор, пока из глаз не брызнули слезы. Теперь я понимаю, как отчаянно он переживал за то, чтобы добыть нам еду. Он едва не превратился в преступника. Эта морковь была такой большой, старой и твердой, что нам пришлось построгать ее в мелкую соломку. С таким же успехом можно было жевать ветку, да и помыть ее мы не могли.

Только потом я понял, в какую беду попал бы, если бы отца подстрелили, а то и убили. Я остался бы там совершенно один. Мне до сих пор это снится. Думаю, он испытывал нечто

вроде стыда, какой возникает, когда понимаешь, какую глупость ты совершил, уже после того, как дело сделано. И все же он твердо вознамерился найти эту могилу.

Однажды, желая подчеркнуть, что мне нужно впитывать знания, пока я молод и учеба дается легко, дед рассказал мне о человеке, с которым познакомился, когда впервые приехал в Канзас. Это был проповедник, обосновавшийся там лишь недавно. Дед говорил: «Этот человек плохо знал древнееврейский. Он мог пятнадцать миль топтаться на лютom морозе, прежде чем добирался до истинного толкования. Нам приходилось хорошенько разогревать его, и только потом он мог объяснить, что у него на уме». Отец смеялся и говорил: «Самое странное – то, что это, возможно, правда». Но тогда я запомнил эту историю, потому что мне казалось, как будто в нашей семье происходит нечто похожее.

Отец отказался от сбора остатков после жатвы и вернулся к обходу верующих, стуча в каждую дверь. Он не очень любил это занятие, ведь, узнав, что он проповедник, люди пытались дать больше, чем могли. Во всяком случае, он так считал. А они не сомневались в том, что он проповедник: вид у него был весьма потрепанный после одиноких скитаний, как он выражался. Некоторым хозяевам мы предлагали помочь с домашними делами в благодарность за еду, но люди просили его всего лишь процитировать Библию или прочитать молитву. Ему было любопытно, как они понимали, что он проповедник, и он часто спрашивал, что его выдало. Он гордился, что руки его загубели от тяжелой работы, да и лишнего веса у него не было. Меня тоже часто рассекречивали, и я задавался вопросом: по каким признакам? Что ж, мы провели много дней, балансируя на грани катастрофы, а потом много лет смеялись над этим. И потешались мы всегда над самыми страшными моментами. Маму все это раздражало, и она просто говорила: «Даже не рассказывайте мне об этом».

Во многих отношениях она была исключительно заботливой матерью, бедная женщина. В каком-то смысле я был для нее единственным ребенком. Еще до моего рождения она купила себе новую книгу о том, как заботиться о здоровье. Это была большая и дорогая книга, куда более обстоятельная, чем Левит. Руководствуясь опубликованными в книге рекомендациями, мать не разрешала нам думать в течение часа после ужина или читать, когда у нас были холодные ноги. Идея состояла в том, что нельзя не создавать конфликтных потребностей в системе кровообращения. Дед как-то сказал ей, что если не читать с холодными ногами, то в штате Мэн не останется ни одной грамотной души, но она очень серьезно относилась к таким вопросам и только раздражалась. Она говорила: «В штате Мэн ни у кого нет битком набитых закровов, так что, выходит, все мы здесь равны». Когда я приходил домой, она отмывала меня и укладывала в постель, и кормила шесть или семь раз в день, и запрещала думать после каждой еды. Скука была смертная.

Это путешествие я расцениваю как дар, который ниспослал мне Господь. Оглядываясь назад, я понимаю, как молод был мой отец. Ему тогда не могло быть больше сорока пяти или сорока шести лет. Он и в почтенном возрасте оставался здоровым энергичным человеком. Долгие годы мы играли в мяч по вечерам после ужина, до тех пор пока солнце не садилось за горизонтом и не становилось слишком темно, чтобы разглядеть мяч. Думаю, он просто ценил то, что у него дома растет ребенок, сын. Что ж, я тоже был здоровым, энергичным стариком до недавних пор.

Ты знаешь, полагаю, что я женился на одной девушке еще в молодости. Мы вместе выросли. Мы поженились, когда я учился на последнем курсе духовной семинарии, а потом приехали сюда, чтобы я подменил отца на то время, пока они с матерью уехали на юг поправлять ее здоровье. Что ж, моя жена умерла при родах, и ребенок ушел вслед за ней. Их звали Луиза и Анжелина. Я видел девочку еще живой и даже подержал ее на руках пару минут, и я благодарю за это Господа. Боутон крестил ее и назвал Анжелиной, потому что я на день уехал

в Фавор, а ребенок должен был родиться лишь через шесть недель. И некому было сказать ему, как мы решили ее назвать. Она была бы Ребеккой, но Анжелина – тоже хорошее имя.

В прошлое воскресенье, когда мы ходили на ужин к Боутону, я заметил, как ты смотришь на его руки. Они обезображены артритом, особенно заметно это стало теперь, когда кожа обтянула кости. Ты думаешь, он ужасно стар, но он моложе меня. Он был свидетелем на моей первой свадьбе и венчал меня с твоей матерью. Сейчас он живет с дочерью Глори. Жена покинула его, и это печально, но для Боутона настоящая отрада – видеть дочь каждый день. Глори заходила на днях занести мне один журнал. Она сказала, быть может, Джек тоже придет домой. Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы вспомнить, кто это. Ты, наверное, не так хорошо помнишь старика Боутона. Время от времени он бывает суров, что вполне понятно, если вспомнить, как плохо он себя чувствует. Жаль, если ты запомнил его именно таким. В лучшие годы он проповедовал блестяще, лучше, чем кто бы то ни было.

Отец всегда читал проповеди по записям, и я тоже прописывал текст полностью, когда готовился к службе. На чердаке стоят коробки, наполненные бумагами, а в последние годы стали копиться ящики и в шкафу. Я никогда не возвращался и не пытался разобраться, зачем их храню, действительно ли я сказал что-то стоящее? Почти весь труд моей жизни пылится в этих коробках, удивительно – если задуматься. Я немного боюсь их. Полагаю, я работал над текстами лишь для того, чтобы мне было чем заняться. Если кто-то приходил ко мне домой и заставлял меня за письмом, то он или она, как правило, уходили. Исключение делалось лишь для самых срочных вопросов. Не знаю, каким образом уединение может служить лекарством от одиночества, но в те дни мне это помогало. И люди уважали меня за то, что я столько часов проводил в кабинете и выписывал столько книг по почте. Если честно, их было не так много, но явно больше, чем я мог себе позволить. Вот куда пошла часть денег, которые я мог бы отложить.

Разумеется, за этим стояло нечто большее. Писать для меня было все равно что молиться, даже когда я писал не проповеди, а это случалось довольно часто. Возникает такое ощущение, как будто ты не один. Сейчас мне кажется, как будто я с тобой, что бы это ни значило, ведь сейчас ты еще маленький, а когда вырастешь, вовсе не обязательно считаешь эти строки интересными. А может, это письмо вообще не попадет к тебе в руки по ряду причин. Что ж, я глубоко сожалею о всех горестях, которые тебе пришлось пережить, и испытываю чувство благодарности в предвкушении всего хорошего, что встретится на твоём пути. Это значит, что я молюсь за тебя. И в этом есть некая интимность. Вот в чем истина.

Твоя мама с уважением относится к тому времени, которое я провожу здесь в кабинете. Она гордится моей библиотекой. Именно она обратила мое внимание на то, сколько коробок я заполнил проповедями и молитвами. Скажем, я писал по пятидесяти проповедей в год в течение сорока пяти лет, не считая речей для похорон и так далее, а таких тоже было немало. Две тысячи двести пятьдесят. Если в среднем каждая составляет тридцать страниц, то всего я написал шестьдесят семь тысяч пятьсот страниц. Неужели я прав? Наверное, да. К тому же я пишу мелким почерком, как ты теперь знаешь. Если исходить из того, что в одном томе триста страниц, то я написал двести двадцать пять книг – значит, по количеству я сравнялся с Августином Блаженным и Жаном Кальвином. Это невероятно. И почти все я написал с глубочайшей надеждой и твердой верой. Тщательно отсеивая мысли и подбирая слова. Пытаясь сказать истину. И, буду с тобой честен, это было прекрасно. Я благодарен за все эти темные годы, хотя сейчас, когда я оглядываюсь назад, они больше походят на длинную горестную молитву, которую наконец услышали. Твоя мать вошла в церковь в разгар молитвы, чтобы спрятаться от непогоды, как мне показалось тогда, ибо на улице лило как из ведра. Когда она одарила меня своим серьезным взглядом, я смутился, что проповедую перед ней. Как сказал бы Боутон, я ощутил всю бедность моих замечаний.

Иногда мне нравилось спокойствие обычного воскресного дня. Это все равно что стоять в недавно высаженном саду после теплого дождя. Чувствуешь безмолвную и невидимую жизнь. И ей требуется лишь одно: чтобы ты проявлял осторожность и не растоптал ее. Стоял как раз такой тихий день, дождь стучал по крыше, дождь тихо бил в стекла, и все радовались, потому что дождя нам всегда не хватает. В такие мгновения я не особенно переживаю, слушают ли меня люди, ведь я знаю, о чем они думают. И если появляется какая-то незнакомка, это спокойствие может навеять мысли о дремоте и скучных обычаях, и ты боишься, что у нее возникнет именно такое впечатление.

Если бы Ребекка выжила, ей был бы пятьдесят один год, а значит, она была бы старше твоей матери на десять лет. Раньше я часто думал о том, что случилось бы, войди она в эту дверь? Что я не постыдился бы сказать в ее присутствии? Ведь я всегда представлял, как она вернется из того места, где постигаешь знания во всей полноте, и выслушает мои рассуждения как человек, который видел истину воочию и полностью осознает всю глубину моей безграмотности. Такими фантазиями я забавлялся, чтобы не принимать доктрины и противоречия слишком близко к сердцу. В те дни я читал много книг, и в уме постоянно дискутировал то с одним, то с другим автором, но, похоже, мне хватало ума не выносить все это на кафедру. Я верю все же: отчасти это объясняется тем, что я писал проповеди так, как будто Ребекка может войти в эту дверь, и я в некотором роде был готов к приходу столь юной особы, как твоя мать. Хотя она и оказалась моложе, чем была бы Ребекка, но не сильно отличалась от того образа, который я создал в своих мыслях. И дело было даже не в ее внешности, а в том, что, казалось, она не вписывается во всю эту атмосферу, и в то же время возникало ощущение, что лишь она одна из всех нас имела право там находиться.

Я говорю все это, потому что в ней ощущалась некая серьезность, граничившая со злостью. Как будто она могла сказать: «Из какой бы чудовищной дали и невообразимой реальности я ни явилась, я сделала это ради ваших молитв. Теперь скажите хоть что-то стоящее». Моя проповедь осела пеплом у меня на языке. И дело было даже не в том, что я не работал над ней. Я работал над всеми своими проповедями. Я помню, что крестил двоих детей в тот день. Я чувствовал на себе ее напряженный взгляд. Оба младенца зарыдали, когда я впервые окунул их в воду, я поднял глаза и прочел суровое изумление на ее лице. Я знал, что увижу именно такое выражение, еще до того как взглянул на нее. И мне совершенно искренне захотелось сказать: «Если вы знаете более гуманный способ совершить это таинство, я с благодарностью вас выслушаю». Потом по прошествии всего лишь шести месяцев я крестил ее. И мне хотелось спросить ее: «Что же я сделал? Что за этим стоит?» Этот вопрос часто приходит мне на ум, не потому что я разуверился в том, что сделал нечто значимое, а потому что сколько бы я ни думал, ни читал и ни молился, я чувствовал себя так, словно не сумел постичь эту тайну. Слезы струились по ее лицу – дорогая моя женщина. Я никогда этого не забуду. Если только не забуду все, как это случается со многими стариками. Похоже, я не проживу так долго, чтобы забыть что-то еще, ведь память и так подводит меня. Так что это вполне справедливо, я знаю. Я размышлял о крещении много лет. Мы с Боутоном часто это обсуждали.

Возможно, это слишком обыденно и, следовательно, не заслуживает пристального внимания. Однако для меня данный вопрос имеет большое значение. Мы были очень набожными детьми из набожных семейств, которые жили в довольно набожном городке, и это сильно повлияло на наше поведение. Однажды мы крестили целый помет котят. Это были маленькие грязные котята из сарая, едва стоявшие на ногах, – эдакие беспризорные создания, которые живут своей скромной жизнью, ловят мышей и совершенно не интересуются людьми, кроме тех случаев, когда надо сбежать от них. Но в нежном возрасте, похоже, все животные весьма дружелюбны, и мы всегда радовались, обнаруживая новых котят, из какой

бы щели они ни выползали, несмотря на все усилия матери спрятать их от посторонних глаз. Тем более что они хотели играть не меньше нашего. Одной из девочек пришлось на ум запеленать их в кукольное платье. Платье было только одно, но и этого оказалось более чем достаточно, поскольку котята ни минуты не желали в нем оставаться и их все равно приходилось распеленывать сразу после крещения. Я лично смачивал им лобики и по правилам крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Их старая мрачная мать с кривым хвостом застала нас в разгар крещения у реки и принялась утаскивать малюток, волоча их за шкурки, одного за другим. Мы запутались, кто есть кто, но не сомневались, что кое-кто из котят покинул нас, по-прежнему пребывая во мраке язычества, и это нас сильно беспокоило. В конце концов, я самым невинным образом спросил отца, что именно случится с котом, если кто-то решит, скажем, крестить его. Он объяснил, что к таинствам нужно относиться с величайшим почтением. Но ведь он уклонился от ответа на мой вопрос. Мы действительно уважали таинства, но вокруг было столько этих котов! Я все же понял, что он имеет в виду, и больше никого не крестил, до тех пор пока меня не посветили в духовный сан.

Двух или трех котят из того помета забрали домой девочки, и из них выросли вполне достойные домашние коты. Луиза забрала желтого. Он еще обитал у нее, когда мы поженились. Другие продолжали влачить дикие жизни, нисколько не отличаясь от всех других котов, и никто никогда не смог бы определить, принадлежат ли они к язычникам или к христианам. Она назвала котенка Искорка из-за белого пятна на лобике. В итоге он пропал. Подозреваю, что его поймали, когда он воровал кроликов, – за ним водился такой грех. Хотя он и был крещеным, перевоспитать его не удалось. Один мальчик говорил, что ей надо было назвать его Брызгалка. Он настаивал на необходимости полного погружения при крещении. В общем, этим котяткам крупно повезло, что я его убеждения не разделял. Он утверждал, что нашими методами ничего не добьешься, и мы не могли его разубедить. Должно быть, наша Соупи – дальняя родственница того кота.

Я до сих пор помню ощущение этих маленьких теплых лобиков под ладонью. Любому приходилось гладить кота, но прикоснуться к нему так, исключительно с намерением благословить, – совершенно другое дело. Это остается в памяти. Долгие годы мы можем недоумевать, что же сделали с ними с точки зрения космического разума. И меня до сих пор волнует этот вопрос. Благословение создает некую особую реальность, поэтому я положительно отношусь к крещению. Оно не совершенствует священность, но венчает ее, и в этом есть какая-то сила. Я чувствовал, как она проходит через меня, если можно так выразиться. Это ощущение, как будто ты хорошо знаешь это существо, то есть на самом деле ощущаешь его загадочную жизнь и собственную загадочную жизнь в одно и то же время. Я не собираюсь склонять тебя к церковной службе, но в ней есть свои преимущества, о которых ты можешь не знать, если я не укажу тебе. Необязательно быть священником, чтобы даровать благословение. Просто, служа Богу, ты намного чаще с этим сталкиваешься. Именно этого ждут от тебя люди. Не знаю почему в литературе так мало говорится о служении Господу с этой точки зрения.

Людвиг Фейербах рассуждает о крещении удивительным образом, я даже подчеркнул эти слова. Он говорит: «Вода – самая чистая и прозрачная из всех жидкостей; благодаря этим естественным свойствам она олицетворяет безупречную природу Божественного духа. Если говорить коротко, вода сама по себе несет некий смысл; благодаря природным качествам она служит избранным и священным каналом связи со Святым Духом. Таким образом, в основе крещения лежит прекрасная глубокая природная значимость». Фейербах – известный атеист, но воспекает прелести религии, как никто другой, и к тому же любит мир. Разумеется, он считает, что религия просто мешает существованию чистой и неприкрытой радости. Это его

единственная ошибка, причем довольно существенная. Зато он великолепно высказывается о радости и ее отражении в религии.

Боутон не слишком высокого мнения о нем, потому что он разрушил веру многих людей, но я считаю, вина лежит не столько на Фейербахе, сколько на этих людях. У меня такое впечатление, что некоторые только и ждут удобной возможности распрощаться с верой. И эта мода держится на протяжении последних лет ста или около того. Мой брат Эдвард дал мне книгу «Сущность христианства», надеясь избавить меня от слепой набожности, как я мог догадаться в то время. Мне пришлось читать ее втайне, или так мне казалось. Я положил ее в жестяную коробку из-под печенья и спрятал в дупло дерева. И, уж конечно, ты представляешь: один тот факт, что читать ее пришлось при таких обстоятельствах, возбуждал мой интерес. К тому же я благоговел перед Эдвардом, который учился в университете в Германии.

Я понял, что еще не упомянул Эдварда, хотя он играл важнейшую роль в моей жизни. И играет до сих пор, упокой Господь его душу. Мне кажется, в некоторых аспектах он оставался для меня словно чужим человеком, зато в других я знал его вдоль и поперек. Он-то думал, что окажет мне услугу, если выбьет из меня дух Среднего Запада. Именно такую услугу оказала ему Европа. Но вот я перед тобой, и за плечами у меня вся жизнь, которую я прожил именно так, вопреки его предостережениям, оставаясь при этом довольным собой. Однако я знаю, что до сих пор болезненно воспринимаю любые разговоры об ограниченности.

Эдвард учился в Гёттингене. Он был удивительным человеком. Брат старше меня почти на десять лет, так что в детстве мы не так много общались. Нас разделяли еще две сестры и брат, которые угасли от дифтерии меньше чем за два месяца. Он знал их, а я, разумеется, нет, что тоже отдаляло нас друг от друга. Хотя эта тема редко поднималась, я всегда знал, что всех троих объединяло счастливое дружное детство, которое они хорошо помнили, а я даже представить себе не мог. Как бы там ни было, Эдвард уехал из дома в шестнадцать и поступил в колледж. Он окончил его в девятнадцать лет, получив ученую степень по древним языкам, и отправился напрямик в Европу. Никто из нас долгие годы его не видел. Да и писем он присылал немного.

Потом он вернулся домой с палочкой и огромными усами. Герр доктор. Наверное, ему было двадцать семь или двадцать восемь лет. Он выпустил тонкую книжку на немецком – монографию, посвященную каким-то трудам Фейербаха. Он был невероятно умен, и мой отец тоже в некотором роде благоговел перед ним, как и раньше, когда Эдвард был еще маленьким мальчиком. Родители рассказывали мне: он читал все, что попадалось под руку, выучил наизусть целый том Лонгфелло, копировал карты Европы и Азии и знал все реки и города. Разумеется, они считали, что воспитывают маленького Самуила, как и все окружающие, поэтому снабжали его книгами, увеличительным стеклом и всем необходимым, что приходило на ум или попадалось на глаз. Мать иногда вслух сожалела о том, что они не требовали от него помощи по дому и, разумеется, не повторила этой ошибки со мной. Такие чудесные дети, как Эдвард, – настоящая редкость, поэтому все верили: он станет отличным проповедником. И паства собрала деньги, чтобы ему хватило на обучение в колледже, а потом уже в университете в Германии. А он вернулся атеистом. Во всяком случае, именно так он всегда себя называл.

Он устроился на работу в государственном колледже Лоренса и преподавал там немецкую литературу и философию, пока не умер. Он женился на немке из Индианополиса, и у них родились шесть маленьких светловолосых детей. Сейчас все они уже люди среднего возраста. Эти годы он жил в нескольких сотнях миль от меня, и мы почти не виделись. Он отправлял пожертвования для церкви в знак благодарности за то, что когда-то паства помогла ему. Каждый год при его жизни нам приходил чек, датированный первым января. Он был хорошим человеком.

Они с отцом ссорились, когда он вернулся. Однажды за ужином, когда отец в первый раз попросил его вознести хвалу Господу, Эдвард откашлялся и ответил:

– Боюсь, что, пока я в здравом уме, я не сделаю этого, сэр.

И отец страшно побледнел. Я знал, что мне давали читать не все письма Эдварда и что отец с матерью вели по этому поводу серьезные разговоры. Теперь их опасения получили подтверждение. Отец сказал:

– Ты жил под этой крышей. Ты знаешь традиции своей семьи. Ты должен их уважать.

И Эдвард ответил, поступив не самым лучшим образом:

– Когда я был ребенком, то и мыслил как ребенок. Теперь я взрослый человек и отказался от детских глупостей.

Отец встал из-за стола, мать осталась на стуле и залилась слезами, а Эдвард передал мне картошку. Я понятия не имел, какого поведения ждали от меня, поэтому положил себе пару картофелин. Эдвард подал мне подливку. Какое-то время мы поглощали нашу недозволенную пищу, а потом вышли из дома, и я проводил Эдварда в гостиницу.

По дороге он сказал мне:

– Джон, пора бы тебе узнать то, что ты все равно когда-то узнаешь. Этот городок – настоящее болото, и ты должен это осознавать. Покинув эти места, я словно вышел из транса.

Полагаю, соседи видели, как мы вышли из дома как раз во время ужина в тот первый день. Эдвард шел, согнув одну руку за спиной, и слегка сутулился, чтобы оправдать наличие палки, с таким видом, словно был погружен в исключительно серьезную и непостижимую мыслительную деятельность, происходившую, вероятнее всего, на иностранном языке. (Подумать только!) Если бы они его увидели, то тут же убедились бы, что их подозрения были не напрасны. И еще они узнали бы, что мама неистовствует и рыдает на кухне, а отец – на чердаке или в сарае – в каком-нибудь тихом укромном месте стоит на коленях и вопрошает Господа, чего от него ждут. И вот он я – тащусь за Эдвардом, еще одна печаль для родителей, как они наверняка подозревали в тот самый момент.

Помимо книг, которые я упомянул, Эдвард подарил мне маленькую картинку с изображением рынка, которая висит у лестницы. Надо не забыть сказать твоей маме, что она принадлежит мне, а не приходу. Сомневаюсь, что картина чего-то стоит, но, быть может, она захочет ее забрать.

Я собираюсь отложить эту работу Фейербаха вместе с книгами, которые попрошу твою маму обязательно передать тебе. Надеюсь, когда-то ты их прочитаешь. На мой взгляд, в этой работе нет ничего крамольного. В первый раз я читал ее под одеялом или на берегу ручья, потому что мать запретила мне общаться с Эдвардом, и я знал: запрет распространяется и на чтение атеистической книги, которую он мне дал. Она сказала: «Если бы ты хоть раз заговорил с отцом подобным образом, то свел бы его в могилу!» На самом деле я всегда думал о том, как защитить отца. И я верю, что мне это удалось.

На полях остались мои пометки – я надеюсь, они будут тебе полезны.

Упоминание о Фейербахе и радости навело меня на мысли об одной ситуации, которую я наблюдал как-то утром несколько лет назад, когда шел к церкви. Примерно на полдома впереди от меня прогуливалась молодая пара. Солнце ярко сияло после сильного дождя, а деревья стояли мокрые и блестели. Повинуясь какому-то импульсу – видимо, в порыве энтузиазма, – парень подпрыгнул, ухватился за ветку, и на обоих обрушился холодный душ из сверкающих капель. Они расхохотались и пустились бежать, девушка отряхивала воду с волос и платья, как будто испытывала отвращение, но на самом деле это было не так. Это было прекрасное зрелище, словно из какого-то мифа. Не знаю, почему я сейчас вспомнил

об этом, быть может, потому, что в такие моменты легко поверить, как будто вода прежде всего предназначалась для благословения людей, и только потом – для выращивания овощей и стирки. Жаль, я не обращал на это внимания раньше. Мой список сожалений может показаться необычным, но кто знает наверняка, что необычно? Это удивительная планета. Она заслуживает больше внимания, чем ты можешь ей уделить.

Когда я пишу это письмо, то замечаю, что мне стоит больших усилий не употреблять определенные слова чаще, чем требуется. Я размышляю о слове «просто». Я почти жалею, что не написал: солнце просто *сияло*, дерево просто *блестело*, вода просто *полилась*, а девушка просто *засмеялась*. Когда так говоришь, акцентируется следующее слово, да и тон голоса меняется. Люди говорят так, когда хотят привлечь внимание к объекту, существующему за пределами собственных границ, так сказать, когда имеется в виду некая чистота или неумеренность, что-то обычное по своей сути, но исключительное по степени. Именно такие ощущения возникают у меня в настоящий момент. Слово «просто» обозначает нечто настоящее, не признаваемое обычным языком. Это сродни немецкой приставке *ge-*. Печально, что я лишен возможности пользоваться этим выразительным средством. Это наполовину лишает смысла весь мой рассказ.

Еще я склонен повсюду вставлять слово «старый», которое, на мой взгляд, в меньшей степени относится к возрасту, чем к дружеским отношениям. Оно позволяет выделить объект, в отношении которого существует привычная скромная привязанность. Иногда оно предполагает невезучесть или уязвимость. Я говорю «старый Боутон», еще я говорю «этот ветхий старый город», когда хочу сказать, что они дороги моему сердцу.

Я пишу не так, как говорю. Боюсь, ты подумаешь, что лучше я и не умею. И я не пишу так, как пишу для кафедры, во всяком случае, стараюсь сдерживаться. В таких обстоятельствах это было бы глупо. Я правда стараюсь писать так, как думаю. Но, разумеется, все меняется, когда я облакаю мысли в слова. И чем лучше слова отражают мои мысли, тем более проповедническим кажется мое послание – наверное, это неизбежно. Тем не менее я буду всячески избегать подобной интонации.

Я отправился к Боутону, чтобы взглянуть, чем он занят, и застал его в ужасном расположении духа. Завтра должен был наступить его семьдесят четвертый день рождения. Он сказал:

– Правда в том, что я просто устал сидеть здесь в одиночестве. Вот в чем правда.

Глори вертится вокруг и делает все возможное, чтобы его порадовать, но и у него выдаются плохие дни. Он сказал:

– Когда мы были молоды, брак что-то *значил*. *Семья* что-то значила. Все было не так, как сейчас.

Глори закатила глаза, услышав это, и заявила:

– Мы довольно давно не получали от Джека ни весточки и немного нервничаем.

Он возмутился:

– Глори, почему ты всегда так поступаешь? Почему ты говоришь «*мы*», когда имеешь в виду *меня*?

Она ответила:

– Папа, лично я думаю, что Джек не появится через минуту на пороге.

Он ответил:

– Что ж, беспокоиться – это естественно, и я не собираюсь просить за это прощения.

Она сказала:

– Полагаю, вымещать свое беспокойство на мне – это тоже естественно, только я не могу делать вид, как будто мне это нравится.

И так далее. Так что я вернулся домой.

Боутон всегда был добродушным человеком, но переживания утомляют его, и периодически у него вырываются слова, которые он говорить не должен. В такие мгновения он сам не свой.

Мне жаль, что ты одинок. Ты серьезный ребенок и не особенно часто хихикаешь или секретничаешь. Ты стесняешься других детей. Я вижу, как ты стоишь на качелях, наблюдая за ровесниками, которые играют на дороге. Один из тех, что побольше, пытается объездить старый разбитый велосипед. Я думаю, ты знаешь, кто они. Ты не разговариваешь с ними. Если тебе покажется, что тебя заметили, ты, наверное, уйдешь в дом. Ты застенчив, как твоя мать. Я знаю, как тяжела для нее жизнь, которую я навязал ей, и, полагаю, ты тоже это чувствуешь. Она непохожа на типичную жену проповедника. Она сама так говорит. Но она никогда не возражает. Наверное, Мария Магдалина иногда готовила овощную запеканку или ее древний аналог. А может, и чечевичную похлебку.

Я говорю о твоей матери с величайшим уважением, когда утверждаю, что она всегда казалась мне именно тем человеком, с которым Господь мог бы пожелать провести часть Его земной жизни. Как странно произносить эти слова по прошествии веков... Бывает некая заслуженная невинность, я считаю, которую надлежит почитать так же, как невинность детскую. У меня часто возникало желание прочитать проповедь на эту тему. И я читал, полагаясь на свои знания. Когда Господь говорит: «Будьте как дети», – мне кажется, Он имеет в виду, что нужно избавиться от любых атавизмов в виде самодовольства, претенциозности и банальности. «Наг я вышел я из чрева матери моей»⁵, и так далее. Думаю, я прочитаю об этом проповедь во время Рождественского поста. Надо написать себе напоминание. Если я и сам не помню, чтобы раньше говорил об этом, значит, и никто другой не вспомнит. Я могу представить, как Иисус подружился с моим дедом и даже готовил для него завтрак и беседовал, старик и в самом деле вспоминал пару таких случаев. О себе я не могу сказать того же. Сомневаюсь, что у меня хватило бы на это сил. Время от времени я размышлял об этом и, по правде говоря, не очень понимаю, как с этим быть.

Мне приносила удовольствие мысль, как будто твоя мать ощущает гармонию с этим миром, пусть даже мимолетную. Спокойствие, я бы даже сказал, ибо верю, что у нее связь с миром гораздо глубже, чем у меня. Я искренне жалею, что не знаю способа избавить тебя от любого знакомства с той самой бедностью, которую Сам Господь благословил словом и собственным примером. Однажды, когда я высказал свои опасения вслух, твоя мать сказала: «Думаешь, я не знаю, каково быть бедной? Я жила так всю жизнь». Но мне все равно стыдно думать о том, что я оставляю вас без гроша в этом мире. О Боже, думаю я, избавь их от этого дара...

Мне в некотором роде удалось испытать на себе благословенную бедность. Мой дед никогда не оставлял себе ни одной вещи, которую можно было отдать, и не позволял делать это нам, как говорила моя мать. Он готов был стащить с веревки постельное белье ради других. Мать говорила, он хуже любого вора и хуже пожара. Еще она говорила, что если решит прогуляться по любому городу на Среднем Западе, то увидит на улице пару штанов, на которые лично ставила заплатки. Я верю, что он был в некотором роде святым. Когда кто-то в его присутствии отмечал, что он потерял глаз на Гражданской войне, дед говорил: «Я предпочитаю думать о том, что один глаз я все-таки сохранил». Мать же говорила, ей греет душу осознание того, что ему хоть что-то удалось сохранить. Однажды он рассказал мне, что его ранили в битве при Уилсонс-Крик в тот день, когда погиб генерал Лайон. «Вот *это*, – говорил он, – была *потеря*».

⁵ Книга Иова, 1:21.

Когда он покинул нас, все мы с горечью ощутили его отсутствие. Но он в самом деле доставлял много хлопот. В нем чувствовалась какая-то детская невинность. У него ни на что не хватало терпения, кроме как на простейшие интерпретации важнейших заповедей, «Прозящему у тебя дай», в частности.

Жаль, ты не знаком с моим дедом. Однажды я услышал, как один человек сказал: его единственный глаз имеет силу десяти. Если говорить на простом языке, мне кажется, что взгляд, даже самый пристальный, несколько размывается, когда на тебя смотрят два глаза. Он же мог создать такое ощущение, как будто ткнул палкой, всего лишь взглянув на меня. Дед совершенно не желал мне зла. Он всего лишь пылал страстью к привычным убеждениям и не мог справиться с тем, что ему приходилось проявлять терпение из-за вынужденного покоя, и старения тела, и забывчивости, которая проникла повсюду. Он считал, что мы все должны жить без оглядки. Я не утверждаю, что он заблуждался. Это все равно что спорить с Иоанном Крестителем.

Он и в самом деле готов был отдать что угодно. Отец принимался искать пилу или коробку гвоздей, а потом выяснялось, что их уже нет. Мама хранила деньги в корсаже платья в носовом платке. Какое-то время она продавала кур и яйца, потому что у нас было совсем туго с деньгами. (Тогда к этому дому прилагался участок земли, и сарай, и пастбище, и курятник, и перелесок, и деревянный сарай, и маленький милый фруктовый садик, и беседка, увитая виноградом. С годами церкви пришлось все это продать. Раньше я только и ждал, что следующим уйдет с молотка – подвал или крыша?) Как бы там ни было, наступили тяжелые времена, и ей приходилось как-то уживаться со стариком, который готов был отдать одеяло из собственной постели. Пару раз он именно так и поступил, и моей матери пришлось потрудиться, чтобы найти замену. Был период, когда она заставляла меня постоянно носить одежду, которую я надевал в церковь, чтобы он до нее не добрался. И она старалась непрерывно следить за мной, потому что была уверена: я сбегу и отправлюсь играть в бейсбол именно в этой одежде. Разумеется, именно так я и поступал.

Я помню, как однажды он вошел в кухню, когда она гладила, и сказал:

– Дочь моя, тут люди пришли к нам за помощью.

– Что ж, – ответила она. – Надеюсь, они могут подождать минуту. Надеюсь, они дождутся, пока этот уют остынет.

Через пару минут она поставила уют на печь, отправилась в кладовую и вернулась с жестяной банкой соды. Помешав содержимое банки вилкой, она выудила четвертак. Она делала это снова и снова, до тех пор, пока на столе не оказались четвертак и две десятицентовые монеты. Мать взяла их, обтерла соду уголком фартука и протянула ему. На сорок пять центов в то время можно было купить не одну дюжину яиц – она не отличалась жадностью. Дед забрал деньги, хотя было ясно: он знал, что у нее есть еще. (Однажды в кладовой он обнаружил деньги в пустой жестяной банке, когда случайно схватил ее и она загремела. Поэтому он повадился ходить в кладовую и проверять, что там еще гремит. А мать приносила мыть деньги и заталкивать их в сало или закапывать в сахар. Но время от времени какая-нибудь монета появлялась в самом неподходящем месте, например, в сахарнице или тарелке с кашей.) Несомненно, мать хотела заставить деда поверить, как будто все ее деньги лежат в кладовой, раз уж она что-то там прятала.

Но одурочить его было невозможно. Быть может, он и был немного неуравновешен в то время, зато видел насквозь все и всех. Кроме пьяниц и тех-у-кого-всегда-все-плохо, как говорила мать. Но и это было неправдой. Он просто говорил: «Не суди», – а это уже Священное Писание, так что тут вряд ли поспоришь.

Я должен отметить, что моя мать очень гордилась тем, как заботится о своей семье. Тогда это был нелегкий труд, тем более для нее, с ее болями и страданиями. В кладовой

она держала бутылку виски от ревматизма. «Это единственное, что мне не приходится прятать», – говорила она. Зато дед мог без спроса забрать у нее банку маринованной свеклы. В тот день он так и стоял, держа три монеты в загрубевшей мумифицированной руке, и смотрел на нее своим ужасным глазом, а она скрестила руки прямо над носовым платком, где лежали деньги – он это точно знал, – и тоже буравила его взглядом, до тех пор пока он не сказал: «Что ж, благослови и сохрани тебя Бог» – и вышел.

Моя мать сказала: «Я переглядела его! Я переглядела его!» В жизни не видел, чтобы она так удивлялась. Как я уже говорил, она глубоко его уважала. Он всегда твердил ей, что не стоит переживать из-за его чрезмерной щедрости, потому что Господь о нас позаботится. А мать отвечала, что если бы Он не был так занят сохранением наших рубашек и носков, то успевал бы хоть иногда послать нам дар в виде торта или хотя бы пирога. И все же она, как и все мы, тосковала, когда дед пропал.

Раздумывая над написанным, я прихожу к выводу, что изобразил деда в старости эксцентричным чудачком, которого мы терпели, и уважали, и любили, а он любил нас. Так и было. Но я верю: мы знали и о том, что его странности были проявлением противоречивой страсти, и он гневался, на нас – больше всего, а старческая дрожь в какой-то степени была отголоском подавленного горя. И я верю, что отец со своей стороны тоже испытывал гнев из-за обвинений в своей адрес, которые читал в вечном беспокойстве отца и его беспрестанном мародерстве. В духе христианского всепрощения, свойственного представителям духовенства и людям, которые приходятся друг другу отцом и сыном, они похоронили свои разногласия. Я должен отметить, однако, что отец с дедом зарыли их не очень глубоко, как поступают многие, когда решают слегка уменьшить пламя, а не совсем затушить огонь.

Они обращались друг к другу особенным образом, когда былая обида готова была разгореться вновь.

– Я как-то обидел вас, ваше преподобие? – спрашивал отец.

И его отец отвечал:

– Нет, ваше преподобие, вы никоим образом меня не обидели. Ни в коем случае.

А мать говорила:

– О нет, вы двое, даже не начинайте.

Моя мама очень гордилась своими цыплятами, особенно после того, как дед ушел и ее выводок начал расти. Благодаря тщательному отбору колония кур процветала и несла яйца с такой скоростью, что мать не переставала удивляться. Но однажды налетел ураган и снес крышу курятника, и куры стали вылетать оттуда, наверное, с порывом ветра, да и вообще вели себя, как заправские куры. Мы с мамой видели, как это произошло: предчувствуя, что будет дождь, она позвала меня помочь снять белье с веревки.

Это была катастрофа. Когда крыша ударилась о забор из натянутой на колышки проволочной сетки, который по прочности не сильно превосходил паутину, одни цыплята ринулись на луг, другие – побежали к дороге, а третьи – просто побежали, как любые нормальные цыплята. Потом оживились соседские собаки, да и наши тоже, и вот тогда хлынул дождь. Мы не могли вернуть даже своих собак. Их неистовое веселье отдавало стыдом, если мне не изменяет память, но в целом они не обращали на нас внимания. Такой момент выпадает раз в жизни, и они не собирались его упускать.

Мама сказала: «Не хочу на это смотреть». И я последовал за ней на кухню, и мы сидели там, слушая звуки преисподней, и ветер, и дождь. Потом мама воскликнула: «Белье!» Она совсем забыла про него. Она сказала: «Эти простыни, должно быть, так отяжелели, что теперь волочатся по грязи, если только ветер не сорвал их с веревок». Это означало, что весь день она трудилась зря, не говоря уже о беде с курами и цыплятами. Мать закрыла один глаз

и, посмотрев на меня, сказала: «Я знаю, в каком-то смысле это дар Божий». Мы и правда привыкли имитировать манеру разговора старика, когда его не было в комнате. И все же я удивился, что она прямо пошутила на счет дедушки теперь, когда его так долго не было. Ей действительно нравилось, когда я смеялся.

Обнаружив деда в Маунт-Плезанте после окончания войны, отец пришел в ужас от его ран. На самом деле он просто онемел. И первые слова, с которыми дед обратился к своему сыну, звучали так: «Уверен, это дар Божий». Так он отзывался обо всех более или менее драматичных событиях, происходивших в его жизни. Я помню, что у него были вывихнуты оба запястья и сломано ребро, не меньше. Однажды он сказал мне, что быть благословленным – значит быть окровавленным, и в английском это действительно родственные слова, если обратиться к этимологии, а вот в греческом или иврите – нет. Так что какое бы понимание ни основывалось на этой этимологии, Слово Божие его не подтверждало. Игра с толкованиями была не в его стиле. Он делал это для того, чтобы убедить самого себя, – полагаю, как делают многие из нас.

В любом случае это понятие, похоже, имело для него большое значение. Он вечно пытался помочь кому-нибудь принять теленка у коровы или срубить дерево, требовалась его помощь или нет. Жалел он только несчастных, а на себя эмоций уже не оставалось, какие бы страдания он ни испытывал. Так продолжалось до тех пор, пока не начали умирать его друзья. Все они ушли один за другим за два года. И тогда он почувствовал страшное одиночество, в этом я не сомневаюсь. Думаю, во многом именно из-за этого он сбежал в Канзас. Из-за этого, а еще из-за пожара в негритянской церкви. Пожар был небольшой: кто-то соорудил кучу из засохшего кустарника у задней стены и чиркнул спичкой, а кто-то еще увидел дым и затушил пламя лопатой. (Негритянская церковь раньше находилась там, где сейчас стоят стойки для продажи газированной воды, хотя, я слышал, дела у них не очень. Церковь продала здание пару лет назад, и все, кто остался из паствы, переехали в Чикаго. Тогда паства состояла из двух или трех семей. Священник заходил к нам с мешком растений, которые выкопал у крыльца, в основном лилии. Он подумал, что они пригодятся мне, и они действительно до сих пор растут у входа в церковь, не мешало бы их проредить. Нужно рассказать дьяконам, откуда взялись эти цветы, чтобы они осознали их ценность и спасли, когда здание снесут. Я сам не очень хорошо знал пастора негритянской церкви, но он говорил, что его отец знал моего дела. Еще он говорил, что им жаль уезжать, ибо этот город когда-то очень много для них значил.)

Ты подружился с одним пареньком из школы – веснушчатый маленький лютеранином по имени Тобиас. Милый ребенок. Похоже, ты половину свободного времени проводишь у него в гостях. Мы думаем, что для тебя это очень хорошо, но иногда ужасно по тебе скучаем. Сегодня вечером ты идешь на импровизированный пикник у него на заднем дворе. Это недалеко – на другой стороне улицы, всего через пару домов от нас. Перспектива отужинать без тебя навевает тоску.

Вы с Тобиасом утомленные пришли на рассвете и расстелили спальные мешки на полу у тебя в комнате, а потом спали до обеда. (Ты слышал, как кто-то рычал в кустах. Неудивительно – у Т. есть братья.) Твоя мама заснула в коридоре с книжкой на коленях. Я сделал тебе запеченные бутерброды с сыром, которые немного передержал в духовке. И принялся рассказывать одну историю, которая тебе очень понравилась, повествуя о том, как моя бедная старая мать засыпала в кресле-качалке у плиты на кухне, пока наш ужин коптел и скворчал, словно запрещенное жертвоприношение, на огне. И ты съел бутерброды, быть может, с чуть большим удовольствием, несмотря на то что они подгорели. Еще я дал тебе шоколадный кекс с белой сахарной глазурью. Я покупаю такие для твоей мамы, потому что она их любит, но

сама себе не покупает. Сомневаюсь, что ей удалось поспать сегодня ночью. А вот я сам себя удивил: я крепко спал, а проснулся, когда досмотрел совершенно безобидный сон о ничем не примечательной беседе с людьми, которых я не знал. И я так радовался, застав тебя дома.

Я размышлял о курятнике. Он стоял прямо на той стороне двора, где сейчас находится дом Мюллеров. Мы с Боутоном часто сидели на его крыше, озирая соседские сады и поля. А еще мы брали с собой бутерброды и ужинали прямо там. У меня были ходули, которые Эдвард смастерил для себя много лет назад. Они были такие высокие, что мне приходилось забираться на них с веранды. Боутон (тогда его звали Бобби) попросил отца сделать ему такие же, так что мы несколько лет «жили» на них летом. Нужно было ходить по тропинкам или по утоптанной земле, но мы наловчились и спокойно прогуливались на ходулях по всему двору, как будто это совершенно обычное дело. Мы даже могли сесть на ветку дерева. Иногда нас беспокоили осы или москиты. Пару раз мы падали, но в целом нам все очень нравилось. Как гиганты возвышаясь над землей, мы воображали себя могущественными отважными воинами. Нам в голову не приходило, что курятник вот так возьмет и развалится. Покрытая потертым черным рубероидом крыша всегда была теплой, даже когда день выдавался прохладный. Иногда мы лежали прямо на ней, подставляя лица ветру, лежали и разговаривали. Я помню, Боутон уже тогда переживал за свое призвание. Он боялся, что озарение не снизойдет на него и ему придется избрать иной жизненный путь, а какой – он придумать не мог. Мы рассматривали возможности, о которых нам было известно. Оказалось, их не так много.

Боутон рос медленно. А потом, когда детство пролетело, он целых сорок лет был выше меня. Теперь же он так сгорбился, что я даже не знаю, какой у него рост и вес. Он говорит, его позвоночник стал как костяшки пальцев. Он говорит, что превратился в кучу суставов, ни один из которых не работает. Глядя на него, и не догадаешься, как он выглядел раньше. Он всегда мастерски захватывал базы при игре в бейсбол со времен учебы в начальной школе до семинарии.

На днях я напомнил ему, как он сказал мне, лежа на крыше и наблюдая за облаками:

– Как думаешь, что бы ты сделал, если бы увидел ангела? Я тебе вот что скажу: я бы так испугался, что убежал бы!

На этих словах старый Боутон рассмеялся и сказал:

– Что ж, у меня могло бы возникнуть такое *желание*. – А потом добавил: – Совсем скоро я это проверю.

Я всегда был выше и крупнее других. У всех моих родственников такая конституция. В детстве люди считали, что я старше, чем на самом деле, и требовали от меня больше – больше здравого смысла, чем я мог продемонстрировать в определенный момент. Я научился притворяться, что понимаю больше, чем на самом деле, – качество, которое пригодилось мне на протяжении всей жизни. Я говорю это потому, что хочу, чтобы ты понял: меня совсем нельзя назвать святым. Моя жизнь не сравнима с жизнью моего деда. Я пользуюсь гораздо большим уважением, чем заслуживаю. В большинстве случаев, похоже, это не приносит никакого вреда. Люди хотят благоговеть перед пастором, и я не собираюсь им в этом мешать. Но я приобрел репутацию человека мудрого, из-за того что заказывал больше книг, чем успевал прочитать, и читал больше, чем узнавал, если не считать того факта, что книги пишут весьма занудливые джентльмены. Эта мысль не нова, но правда в том, что полностью осознать ее можно лишь на собственном опыте.

Разумеется, я благодарю Господа за все это и за тот странный период, занявший огромную часть моей жизни, когда я сидел над книгами от одиночества и предпочитал даже самую плохую компанию полному уединению. Ты можешь полюбить плохую книгу за ее горечь, или помпезность, или желчь, если ты страшно изголодался по всему человеческому, – наде-

юсь, ты никогда не испытаешь это чувство. «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко»⁶. Удовольствия можно найти там, где никогда не додумаешься их искать. С одной стороны, кажется, это отцовская мудрость, но еще и Божия истина, и нечто, что я усвоил на собственном опыте.

Довольно часто, когда кто-то видит, что у меня в кабинете поздно вечером долго горит свет, это означает лишь одно: я заснул прямо на стуле. За мной закрепилась слава человека, которому паства приписывает самые добрые качества, и я предпочитаю не разочаровывать их. Отчасти по той причине, что в истине кроется некий пафос, который привел бы к рождению сочувствия в самых невыносимых формах. Что ж, всем им известно о том, как я жил, о каждом значительном событии, и они всегда проявляли тактичность. Много времени я посвятил утешению страждущих, но никогда не мог смириться с мыслью, что кто-то может попытаться успокоить меня, кроме старого Боутона. Ему всегда хватало ума не разглагольствовать. В те дни он был для меня отличным другом, настоящей опорой. Жаль, ты не представляешь, каким замечательным человеком он был в расцвете сил. Он читал потрясающие проповеди, но никогда не записывал их. Да и заметки не сохранял. Так что все утрачено. Я помню лишь пару фраз. Каждый день я думаю о том, что хотел бы пройти по своим старым проповедям и найти одно-два предложения, которые стоит показать тебе. Но их так много, и я боюсь прежде всего того, что большинство покажутся мне глупыми или скучными. Возможно, лучше сжечь их, но это расстроит твою мать, которая гораздо более высокого мнения о них, чем я. Главным образом, из-за количества, полагаю, поскольку она их не читала. Возможно, ты помнишь, что на чердак ведет некое подобие лестницы и там ужасно жарко в те дни, когда не ужасно холодно.

У меня бы вся жизнь ушла на то, чтобы самостоятельно переместить эти большие коробки вниз. Это унижительно – написать так же много, как Августин, а потом искать способ избавиться от трудов. В этих проповедях нет ни одного слова, которое я не воспринимал бы серьезно, когда писал их. Если бы у меня было время, я мог бы прочитать и осмыслить свой путь на протяжении пятидесяти лет моей сокровенной жизни. Какая страшная мысль! Если их сожгу не я, тогда это сделает кто-то другой, а это еще большее унижение. Привычка писать слишком глубоко укоренилась во мне, как ты поймешь из этого бесконечного послания, которое сейчас держишь в руках, если только не потерял и не сжег его.

Полагаю, это естественно – размышлять об этих старых коробках с проповедями наверху. В конце концов, это летопись моей жизни, прошедшей в некотором роде в ожидании Страшного суда, – так неужели я не должен испытывать любопытство? И вот я, пастор людских душ – сотен и сотен душ за многие годы, – надеюсь, что сумел обратиться и к ним, а не только к себе, как мне порой кажется, когда я оглядываюсь назад. Я до сих пор просыпаюсь ночью с мыслями «*Вот* что нужно было сказать!» или «*Вот* что он имел в виду!», когда вспоминаю беседы многолетней давности с разными людьми. Некоторые из них уже отошли в мир иной, благополучно проигнорировав мои тревоги о том, как решить их вопрос. А потом я недоумеваю, почему проявлял такую невнимательность. Если это можно расценивать как вопрос.

Одной проповеди там не хватает, той самой, которую я сжег ночью накануне очередного дня, когда собирался проповедовать. Сейчас не часто можно услышать об «испанке», но это было что-то ужасное. Эпидемия разразилась как раз во время Первой мировой войны, когда мы только ввязались в нее. «Испанка» убивала тысячи солдат – здоровых мужчин в расцвете лет, – а потом набросилась на всех остальных. Воистину, она была подобна войне. Одни похороны за другими прямо здесь, в Айове. Мы потеряли так много молодых людей. И

⁶ Книга Притчей Соломоновых (далее – Притчи), 27:7.

нам еще повезло. Люди приходили в церковь в масках, если приходили вообще. Сиделись как можно дальше друг от друга. Ходили слухи, что вирус распространили немцы при помощи какого-то секретного оружия, но, думаю, люди просто хотели в это верить. Это убеждение спасало их от необходимости размышлять над тем, что еще может означать эпидемия.

Родители этих юных солдат приходили ко мне и спрашивали, как Господь допустил их погибель. Мне очень хотелось поинтересоваться, какое деяние Господа может дать нам понять, что он чего-то *не* допустил. И все же я успокаивал их, убеждая, будто их молодых отпрысков уберегли от чего-то еще, о чем мы не знаем. По мнению многих, я имел в виду, что их уберегли от окопов и горчичного газа, но в действительности я подразумевал, что Господь уберег их от самого акта убийства. Это походило на библейскую чуму. Я тогда думал о Синахерибе.

Странная это была болезнь: я видел больных в Форт-Райли. Те мальчики буквально тонули в собственной крови. Они даже не могли говорить, потому что кровь стояла у них в горле и во рту. Многие умирали так быстро, что некуда было их хоронить, поэтому тела сваливали во дворе. Я приходил туда помогать и видел все собственными глазами. В армию призвали всех мальчиков из колледжа, «испанка» подкосила и их, так что колледж пришлось закрыть, а в его зданиях разместить больничные койки. И повсюду правила бал страшная смерть, прямо здесь, в Айове. И уж если это нельзя считать знамением, то я вообще не знаю, что такое знамение. И я написал об этом проповедь. Я сказал или собирался сказать, что эти смерти спасали глупых молодых людей от последствий их собственного невежества и храбрости, что Господь забрал их к себе, прежде чем они успели бы совершить братоубийство. И я утверждал, что их смерти были знамением и предупреждением для всех нас о том, что жажда войны принесет страшные последствия, ибо ни один океан не велик настолько, чтобы защитить нас от гнева Господа, когда мы начинаем ковать мечи из плужных лемехов, а серпы превращаем в копья, попирая волю и милосердие Господне.

Хорошая получилась проповедь, наверное. Когда писал ее, я думал, как она понравилась бы моего отцу. Но моя решительность таяла, ибо я знал: в церковь придет лишь несколько старых женщин, которые и без того изнемогают от страха и грусти и одобряют войну не больше, чем я. И они приходили, несмотря на то что я тоже мог оказаться заразным. Мне показалось нелепым воображать, как я буду громогласно вещать с кафедры при таких обстоятельствах, и я сжег свое творение и прочитал проповедь на тему притчи о заблудшей овце. Жаль, я не сохранил ту проповедь, ибо в каждое слово вкладывал душу. Быть может, это единственная проповедь, за которую мне было бы не стыдно ответить на том свете. А я сжег ее. Но прихожанка Мирабель Мерсер не была Понтием Пилатом, как и Вудро Вильсоном.

Теперь я думаю, каким храбрым ты, должно быть, меня вообразил, если, разбирая мои архивы, прочитал об этом. В другие времена это сложно понять. Ты и представить не можешь почти пустое святилище, где сидят лишь несколько женщин в плотных вуалях в надежде скрыть маски на лицах и двое или трое мужчин. Я больше года читал проповеди, окутав рот и шею шарфом. От всех пахло луком, потому что ходили слухи, будто лук убивает вирус гриппа. Люди натирались табачными листьями.

Тогда почти на каждом перекрестке стояли бочонки, куда мы могли кидать персиковые косточки, помогая в борьбе с войной. Армия сжигала их, превращая в уголь, как говорили, для изготовления фильтров для противогазов. На один такой фильтр уходили сотни косточек. Так что все мы ели персики на волне патриотизма, и от этого они обретали немного другой вкус. Во всех журналах публиковали фотографии солдат в противогазах, и выглядели они еще более странно, чем мы. Удивительное было время.

Многим молодым людям, похоже, казалось, будто война – удел храбрых, и, быть может, с тех пор как я это написал, завязались новые войны, которые отпечатались в твоём сознании как проявления храбрости. А то, что войны были, я не сомневаюсь. Я верю, что чума была

величайшим знамением для человечества, а мы отказались принять это и истолковать ее как послание Господне, и с тех пор землю раздирают войны.

Я до сих пор сомневаюсь, правда это или нет. Боутон сказал бы: «Это типичная кафедральная речь». Вполне справедливо, но я не знаю, что это значит.

Мои личные темные годы, как я привык говорить, это время одиночества, которое растянулось почти на всю жизнь. И я не могу правдиво описать себя, не рассказав об этом. Время текло так странно: как будто каждая очередная зима была одной и той же зимой, а каждая весна – одной и той же весной. А еще в моей жизни был бейсбол. Я прослушал трансляции тысяч матчей, наверно. Иногда я мог различить половину игры, потом наступало статическое безмолвие, потом ревела толпа – плоский маленький звук, сам по себе почти статичный, как пустой звук в морской раковине. Мне нравилось представлять себе игру, это напоминало разгадывание какой-то хитрой загадки в уме, некое космическое движение. Если мяч летит к левому полю и есть бегуны на первой и третьей базах, то мысленно я переставляю бегунов и ловца на шорт-стоп. Мне нравилось это делать, и я не могу объяснить почему.

Подобным образом я размышлял о беседах, которые остались в прошлом. По большей части моя работа заключается в том, чтобы выслушивать людей в этом особо интимном акте исповеди или хотя бы содействовать в отпущении грехов, и это всегда казалось мне интересным. Не то чтобы я когда-то рассматривал эти беседы как некое соревнование, я говорю о другом. Но если взглянуть на игру абстрактно, возникает вопрос: где сила, что есть стратегия? Словно ты не был заинтересован в исходе, а лишь в наблюдении за тем, как обе стороны справятся друг с другом, как много они могут требовать друг от друга, как сама жизнь, которая является предметом всего сущего, присутствует во всем происходящем. Под «жизнью» я подразумеваю нечто вроде «энергии» (в том понимании, которое культивируется учеными) или «живости», но это уже другое понятие. Когда люди приходят поговорить, какие бы слова они ни произносили, меня всегда поражает некое напряжение, которое они излучают: «я», которое характеризуется действием вроде «люблю», или «боюсь», или «хочу» и объектом в виде «кого-то» или же «ничего». Впрочем, это уже не играет особой роли, ибо вся прелесть – в одном наличии объекта, прилагаемого к этому «я», как пламя к фитилю, который пылает, испуская клубы горя, и вины, и радости, и чего бы то ни было еще. Быстро, и жадно, и находчиво. Возможность увидеть эту сторону жизни – привилегия священнослужителей, о которой редко говорят.

Хорошая проповедь – лишь одна сторона беседы, исполненной страсти. Нужно относиться к ней именно так. Разумеется, в этой беседе три стороны, как и в самой сокровенной мысли: личность, которая формулирует мысль, личность, которая признает ее и каким-либо образом на нее отвечает, и Господь. Это удивительно, если задуматься.

Я пытаюсь описать то, что никогда раньше не пытался облечь в слова. Я растерял силы в этой борьбе.

Однажды, слушая трансляцию бейсбольного матча, я понял, как в действительности движется луна – по спирали. Ведь, путешествуя по орбите Земли, она следует за нашей орбитой и тоже вращается вокруг солнца. Это очевидно, но осознание данного факта порадовало меня. За окном светила полная луна, молочно-белая на голубом небе, и «Кабс» играли против «Цинциннати».

Это упоминание о шуме морской раковины напоминает мне пару строк из стихотворения, которое я когда-то написал:

Открой моллюска панцирь – и увидишь письма,
Сокрытые за пошептом благим.

Больше ничего из этого стихотворения хранить в памяти и не стоило. Один из сыновей Боутона зачем-то ездил на Средиземное море и прислал оттуда ту самую большую ракушку, которую я хранил на столе. Мне всегда нравилось слово «пошепт», но я так и не нашел ему иного применения. Кроме того, что знал я в эти дни, помимо букв, благодати и статики? И что еще любил? В то время многие читали книгу «Дневник сельского священника». Написал ее французский писатель по фамилии Бернанос. Я глубоко сопереживал главному герою, а Боутон говорил: «Все дело в доносительстве». Он утверждал: «Господу просто нужен был более подходящий кандидат на эту позицию». Помню, как я читал эту книгу всю ночь, пока одна за другой отключались радиостанции, и продолжал читать до рассвета.

Как-то раз дед повез меня в Де-Мойн на поезде на игру с участием Бада Фаулера. Сезон или два он провел в городе Кеокук. Старик пригвоздил меня к месту взглядом единственного глаза и сказал, что нет ни одного человека на этой круглой земле, который бегал бы быстрее или бросал точнее, чем Бад Фоулер. Я очень воодушевился. Но в ходе матча так ничего и не произошло, или так я тогда думал. Ни выразительных пробежек, ни попаданий, ни грубых ошибок. В пятом иннинге гроза, которая дремала за горизонтом весь день, наступила на нас и положила всему конец. Я помню, как застонала толпа, когда начался сильный дождь. Мне было всего десять, и я испытал чувство облегчения, а вот дед, напротив, – чувство глубокого разочарования. Еще одно страшное разочарование для бедного старого дьявола. И я говорю это с большим уважением. Даже отец называл его так, и мама тоже. Он потерял глаз на войне и в целом имел свирепый вид. Но он был отличным проповедником в духе своего времени, как говорил мой отец.

В тот день он принес маленький пакет лакрицы, что действительно меня удивило. Всякий раз, когда он запускал туда пальцы, пакетик шуршал из-за его дрожащих рук, и этот звук напоминал треск костра. Я заметил это тогда, и мне это показалось естественным. Также я в какой-то степени предполагал, что гром и молния в тот день явились проявлением воли Создателя, который словно хотел подать ему шляпу со словами: «Рад видеть вас в числе зрителей, ваше преподобие». Или, быть может, сказать: «Что же вы, ваше преподобие, делаете здесь, на спортивном мероприятии, в то время как мир изнемогает от страданий?»

Однажды моя мать сказала, что он притягивает грозных друзей, используя слово «грозный» в традиционном смысле, разумеется, и подразумевая лишь уважение. В молодости он водил дружбу с Джоном Брауном и Джимом Лейном. Жаль, я не могу поведать тебе об этом больше. В нашем доме действовало некое перемирие, при котором воспрещались всякие разговоры о былых временах в Канзасе, а также о войне. Вскоре после поездки в Де-Мойн мы его потеряли или он сам себя потерял. Как бы там ни было, через пару недель он покинул Канзас.

Я где-то читал, что предмет, который не имеет никакого отношения к другим предметам, не может считаться существующим в реальности. Я не вполне осознаю смысл столь гипотетического высказывания, хотя есть вероятность, что мне просто недостает понимания. Однако оно напоминает мне о том дне, когда ни один объект не взлетел в воздух, никто не поскользнулся, не покачнулся и не упал, да и вообще нечего было обсудить. Мне кажется, гроза призвана была положить этому конец, как будто на поле разгорелся костер, который требовалось потушить, подрывая устои мира этим тревожным фактом небытия. «На небесах примерно полчаса молчали». Похоже, я запомнил это именно так, хотя это затянулось на дольше, чем полчаса. Небытие. В этом слове чувствуется мощь. Моему деду негде было растрчивать храбрость, и он никак не мог ощутить ее в себе. Очень прискорбно, что все вышло именно так.

Когда я пишу эти строки, то осознаю, что моя память, по сути, раздула из мухи слона. Я помню старика – моего деда, – который сидел подле меня в пальто пепельного цвета и дро-

жал, потому что так было всегда, и с бережливостью делился со мной лакричными палочками. Быть может, именно в тот день Канзас каким-то образом превратился из воспоминания в намерение в его мыслях. (Он возвратился в Канзас, а не в тот город, где раньше находилась его церковь. Вот почему мы так долго искали его.) Бад Фаулер стоял на второй базе, опустив перчатку на бедро и наблюдал за ловцом. Я знаю, что он любил играть без перчатки, но у меня в памяти отпечатался именно такой образ, и это все, что я о нем помню. Бессмысленно пытаться навязать себе какое-то иное воспоминание. Я следил за его карьерой в газетах долгие годы, до тех пор, пока не основали негритянскую лигу, и потом как-то упустил его из виду.

В старшей школе и колледже я уже вполне прилично проповедовал, и в семинарии у нас сложилась пара бейсбольных команд. По субботам мы собирались на свежем воздухе покидать мяч. Бейсбольное поле сплошь поросло травой, так что оставалось только догадываться, где находились базы. Хорошие были времена. Удивительные молодые люди учились в те дни в семинарии. Да и сейчас учатся, я уверен.

Когда мы с отцом прогуливались по дороге в тишине и лунном свете, вдали от кладбища, где нашли старика, отец сказал: «Знаешь, все в Канзасе видели то же самое, что и мы». Тогда (помню, мне было двенадцать) я решил: он подразумевает, что весь штат стал свидетелем нашего чуда. Я подумал, весь штат поручится за то, что отец привезет с собой особое благословение благодаря молитве на могиле отца или славе, которую дед неким образом снискал, отправившись в мир иной. Позже я понял: отец говорил о луне и солнце, которые соединились в небе без какого бы то ни было отношения к нам. Он никогда не поощрял разговоры о видениях и чудесах, кроме тех, о которых говорилось в Библии.

Не могу сказать, однако, как чувствовал себя я, прогуливаясь рядом с ним той ночью по изрезанной колеями дороге через пустошь, какую приятную мощь ощущал в нем, и в себе, и вокруг нас. Я рад, что не понимал этого, ибо редко испытывал подобную радость и уверенность. Это было одно из тех мгновений, когда тебя переполняет сумасбродное ощущение, которое появляется раз в жизни. И не важно, что это – вина или ужас. Благодаря ему ты осознаешь, какой удивительный инструмент представляешь собой, если можно так выразиться, какую власть тебе придется испытывать за пределами собственного понимания. Кто бы мог подумать, что луна может так ослепительно сиять и гореть, как пламя? Несмотря на слова отца, я видел, что он потрясен. Ему пришлось остановиться и вытереть слезы.

Мой дед рассказал мне однажды о видении, которое посетило его, когда он еще жил в штате Мэн, но ему не исполнилось и шестнадцати. Он уснул у огня, изможденный после целого дня, на протяжении которого помогал отцу выкорчевывать пни. Кто-то дотронулся до его плеча, и когда он поднял глаза, рядом стоял Господь, протягивая к нему руки, скованные цепями. Дед сказал: «Железо протерло Его плоть до костей». Он поведал мне об этом с глубочайшим сожалением и обратил на меня ангельский взгляд своего единственного взгляда, в котором читалась свежая боль от старой раны. Тогда он говорил, что приехал в Канзас для того, чтобы служить во имя отмены рабства. Служение во имя чего-то было самым лучшим из того, на что надеялись старики, а самым страшным для них была потеря цели. Я с глубоким уважением отношусь к такой точке зрения. Когда я рассказал отцу о видении, которое описал дед, он просто кивнул и сказал: «Времена такие были». Сам он никогда не утверждал, что у него был подобный опыт, и, похоже, хотел заверить меня: не нужно бояться, что Господь придет ко мне со своими печальями. И я нашел утешение в этих заверениях. Странно размышлять об этом.

Дед казался мне усталым и пораженным какой-то болезнью. Так и было: он напоминал человека, которого навеки поразила молния, и на его одежде навсегда остался налет пепла,

волосы были вечно взъерошены, а глаз хранил выражение трагического беспокойства, когда он бодрствовал. Он был самым безрассудным человеком из всех, кого я когда-либо знал, если не считать некоторых его друзей. Всем им к старости даже присесть было не на что, и они сами выбрали такой путь, словно их мучило предубеждение против мебели. В них вообще не было плоти. Они напоминали еврейских пророков, которых против их воли отправили на пенсию, или представителей примитивной церкви в ожидании того момента, когда им разрешат судить ангелов. Среди них был один старик, и у него на руке, которой он благословлял и крестил людей, остался ожог от того, что он схватился за ствол молодого джейхокера⁷. «Я думал, этот ребенок не хочет в меня стрелять, – говорил он. – Ему еще лет пять оставалось до того момента, когда начинают расти усы. Он должен был сидеть дома с мамочкой. И я сказал: «Просто отдай мне эту штуку», – и он отдал, ухмыляясь при этом. Я не мог выпустить пистолет из рук – думал, быть может, он шутит – и не мог переложить его в другую руку, потому что она была перевязана. И я так и ушел».

Они учились в Лейне и Оберлинском колледже и знали идиш и греческий, как и Локка с Мильтоном. Некоторые из них даже основали симпатичный маленький колледж в Таборе. Какое-то время он просуществовал. Люди, которые его заканчивали, особенно молодые женщины, сами отправлялись на другой край земли в качестве учителей и миссионеров, а возвращались по прошествии десятилетий и рассказывали нам о Турции и Корее. И все же это были дерзкие старики по большей части. Так что представлялось вполне естественным, что могила деда походила на пожарище.

Только что я слушал одну песню по радио и стоял, покачиваясь под музыку, наверное, потому что твоя мать увидела меня из коридора и сказала: «Я могла бы показать тебе, как это делать правильно». Она подошла, обняла меня и положила голову мне на плечо, а через какое-то время сказала самым нежным на свете голосом: «Почему тебе обязательно быть таким старым, черт возьми?»

Я задаю себе тот же вопрос.

Пару дней назад вы с мамой пришли домой с цветами. Я знал, где вы были. Разумеется, она водит тебя туда, чтобы ты немного привык к этому месту. Еще я слышал, что она хорошо его украсила. Она заботливая женщина. У тебя в руках была жимолость, и ты показал мне, как слизывать нектар с соцветий. Ты откусил кончик цветка и подал его мне, а я положил цветок в рот целиком и притворился, что жую его и глотаю, а еще дул в него, как в маленький свисток, а ты хохотал и хохотал и говорил: «Нет! Нет! Нет!» А потом я сделал вид, как будто у меня во рту жужжит пчела, а ты говорил: «Нет, это неправда! Не было там никакой пчелы!» И я схватил тебя за плечи и дунул тебе в ухо, а ты подпрыгнул, как будто решил, что пчела все-таки была. И ты рассмеялся, а потом вдруг принял серьезный вид и сказал: «Я хочу, чтобы ты сделал так». А потом ты положил руку на мою щеку и коснулся цветком губ так нежно и осторожно. «Теперь пей, – потребовал ты. – Ты должен принять лекарство». И я послушался, и вкус оказался точно такой, как у жимолости, когда я пробовал ее в твоём возрасте и она, похоже, росла на каждом заборном столбе и на перилах каждого крыльца в округе.

Меня изумило, как падал свет в тот день. Я обращал большое внимание на свет, хотя никто больше не придавал ему значения. Создавалось такое ощущение, как будто свет настолько тяжелый, что может выжать влагу из травы и вытеснить запах кислого старого дерева из досок на полу веранды и немного согнуть ветви деревьев, как поздний снег. Это был такой свет, который ложится на плечи, как кошка на колени. Это так знакомо. Старушка

⁷ Джейхокер – так называли канзасских партизан – противников рабства.

Соупи нежилась на солнце, растянувшись на дорожке. Ты помнишь Соупи? Хотя не знаю, почему ты должен ее помнить. Это ничем не примечательное животное. Я ее сфотографирую.

Мы сидели и пили нектар из жимолости до самого ужина, а мама принесла фотоаппарат, так что, возможно, у тебя остались какие-то фотографии. Пленка кончилась, прежде чем я успел сфотографировать ее. Как обычно. Иногда, если я пытаюсь снять ее, она закрывает лицо руками или просто выходит из комнаты. Она не считает себя красивой женщиной. Не знаю, откуда у нее взялись такие мысли, и не думаю, что когда-нибудь это узнаю. Иногда я задаюсь вопросом, почему она – изящная жизнелюбивая женщина – вышла замуж за такого старика, как я. Мне бы в голову не пришло сделать ей предложение. Я никогда не осмелился бы. Это была ее идея. Я часто напоминаю себе об этом. Да и она мне тоже напоминает.

Я не верил, что когда-то буду наблюдать, как моя жена лелеет моего ребенка. Изумляюсь всякий раз, когда думаю об этом. Я пишу это отчасти для того, чтобы пояснить: если ты когда-нибудь недоумевал, что сделал за свою жизнь, а рано или поздно каждый задает себе этот вопрос, то ты был для меня Божьей милостью, чудом, даже больше, чем чудом. Возможно, ты не очень хорошо меня помнишь и тебе кажется, это не так уж здорово – быть послушным ребенком старика в захолустном маленьком городке, из которого ты, несомненно, уедешь. Если бы только у меня хватало слов, чтобы рассказать тебе все...

Волосы ребенка мерцают в солнечном свете. Они переливаются цветами радуги, мягкими крошечными лучиками тех же цветов, что иногда можно увидеть в каплях росы. Они – в цветочных лепестках и на коже ребенка. У тебя прямые темные волосы и очень светлая кожа. Полагаю, ты не намного красивее большинства детей. Ты просто милый мальчик, чуть худощавый, всегда опрятный и с хорошими манерами. Все это прекрасно, но я люблю тебя главным образом за то, что ты просто есть. Существование кажется мне теперь самой замечательной вещью, которую можно представить. Я вскоре отправлюсь в объятия вечности. Через мгновение – ты и глазом не успеешь моргнуть.

Моргнуть глазом. Удивительное выражение. Иногда я думал, что самое лучшее в жизни – это милая теплота, которую можно увидеть в людях, когда они очарованы чем-то или забавляются. «Светлый взгляд радует сердце». Воистину это так.

В то время как ты читаешь эти строки, я уже вечен и в каком-то смысле живее, чем был когда бы то ни было, даже в годы юности, когда меня окружали близкие. Ты читал о фантазиях взволнованного, одурманенного старика, а я живу в свете, который лучше любых фантазий. И все же я не жду тебя здесь, ибо хочу, чтобы твоя брэнная оболочка прожила долго и полюбила этот несчастный брэнный мир. Почему-то я и представить не могу, что не буду горько скучать по нему, хотя страстно хочу увидеть, каково это – воссоединиться с женой и ребенком. Я говорю о Луизе с Ребеккой. Я много лет задавал себе этот вопрос. Что ж, это старое семя вскоре упадет в землю. Тогда и узнаю.

У меня есть несколько фотографий Луизы, но не думаю, что эти портреты имеют большое сходство с оригиналом. Хотя, если учесть, что я не видел ее пятьдесят один год, едва ли я могу судить. Когда ей было девять или десять, она прыгала через скакалку с удивительной скоростью, а если ты пытался ее отвлечь, она просто отворачивалась и продолжала прыгать, никогда не сбиваясь. Косички подпрыгивали и били ее по спине. Иногда, только я пытался схватить ее за одну из них, она уносилась вперед, продолжая прыгать. Она могла бы совершить сотню, а то и миллион прыжков, и отвлечь ее было совершенно невозможно. В домашней книге по здоровью, которая была у мамы, говорилось, что девочке нельзя позволять испытывать здоровье на прочность, но, когда я показал Луизе ту самую страницу, на

которой это было написано, она просто велела мне не совать нос в чужие дела. Она всегда бегала босиком, косички ее парили в воздухе, а панамка была сбита набок. Не знаю, когда девочки прекращают носить панамки и зачем они вообще их носят. Если они предназначены для того, чтобы спастись от веснушек, то могу ответственно заявить: это бесполезно.

Я всегда завидовал мужчинам, которые видели, как старились их жены. Боутон потерял жену пять лет назад, а он женился раньше, чем я. У его старшего сына уже белые, как снег, волосы. А внуки по большей части в браке. Что до меня, я никогда не увижу, как вырастет мой ребенок, и никогда не увижу, как состарится моя жена. Я многих людей сопровождал на протяжении жизни, крестил сотни детей и все это время чувствовал себя так, словно большая часть жизни проходит мимо меня. Твоя мама говорит, я был как Авраам. Только у меня не было старой жены и никакого намека на ребенка. Я жил, довольствуясь книгами, бейсболом и бутербродами с яичницей.

Вы с кошкой пришли ко мне в кабинет. Соупи устроилась у меня на коленях, а ты лежишь на животе на полу в квадрате солнечного света и рисуешь самолетики. Полчаса назад ты сидел у меня на коленях, а Соупи нежилась в квадрате солнечного света. И, сидя у меня на коленях, ты рисовал, как ты объяснил мне, «Мессершмитт-109». Вот он – в углу страницы. Ты выучил все названия из книги, которую Леон Фитч подарил тебе месяц назад, втайне от меня, потому что, мне кажется, он понимал – я этого не одобрю. Все твои рисунки похожи на тот, что ты видишь в углу, но называешь ты их по-разному – «спад», и «фоккер», и «зеро». Ты всегда пытаешься заставить меня прочитать то, что написано мелким шрифтом: сколько у них пушек и сколько бомб он может нести. Если бы мой отец был здесь и если бы на моем месте был он, я бы нашел способ убедить тебя, что благороднее и человечнее всего было бы вернуть книгу старому Фитчу. Мне в самом деле следовало так поступить. Но он хотел как лучше. Быть может, я просто спрячу ее в кладовой. Когда ты понял, что кладовая – волшебное место? Вот куда мы кладем все вещи, до которых ты не должен добраться. Теперь, задумываясь об этом, я понимаю: половина вещей в кладовке находятся там потому, что кто-то из нас не хочет, чтобы их нашел другой.

Я мог бы снова жениться еще в молодости. Прихожанам нравятся женатые священники, и меня перезнакомили со всеми племянницами, золовками и свояченицами в округе. Оглядываясь назад, я с благодарностью думаю о том нежелании с кем-то сходитья, которое удерживало меня в одиночестве, пока не появилась твоя мама. Теперь, когда я задумываюсь о прошлом, мне кажется, что в этой кромешной тьме готовилось рождение чуда. Так что я справедливо вспоминаю эти времена как благословенные, а себя – как человека, который с уверенностью чего-то ждал, хотя я понятия не имел, чего жду.

Потом твоя мама все-таки пришла, хотя мы были едва знакомы, одарила меня своим особенным взглядом и, не мигая, сказала очень тихо и очень серьезно: «Ты должен на мне жениться». Тогда впервые в жизни я понял, что это значит – любить другого человека. Не то чтобы раньше я не любил людей. Но я не осознавал, что это *значило*, когда любил их раньше. Даже моих родителей. И даже Луизу. Я был так потрясен, когда она произнесла эти слова, что еще минуту не знал, что ответить. И она просто ушла, а мне пришлось бежать за ней по улице. У меня все еще не хватало храбрости дотронуться до ее рукава, но я сказал:

– Ты права, я женюсь.

А она ответила:

– Тогда увидимся завтра. – И продолжила свой путь.

Это был самый волнующий опыт за всю мою жизнь. Я бы мог пожелать тебе испытать нечто подобное, но когда вспоминаю о том, что пришлось пережить мне и твоей милой маме до этого, то сомневаюсь, что это было бы правильно.

Вот сейчас я пытаюсь мудрствовать, как настоящий отец и определенно как старый пастор. Не знаю, что тут можно сказать. Пожалуй, только то, что самая страшная беда – это не просто беда. Даже сейчас, когда я вывожу на бумаге эти слова, я думаю о Ребекке, о том, какой у нее был вид, когда я дотронулся до нее. Судя по всему, я хорошо это запомнил, ибо всякий раз, когда я крестил ребенка, я снова и снова думал о ней. Это ощущение детского лобика под твоей ладонью – как же я любил эту новую жизнь! Боутон крестил ее, как я уже говорил, а я просто положил на нее руку, чтобы благословить. И я чувствовал ее пульс, ее тепло, влажность ее лобика. Господь сказал: «Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»⁸. Вот почему Боутон назвал ее Анжелиной. Многие, многие люди, нашли утешение в этих строках.

В последнее время я много думаю о бытии. На самом деле я так упивался бытием, что едва ли мог насладиться им в полной мере. Подходя к церкви утром, я миновал ряд больших дубов у военного мемориала, если ты их помнишь, и вспомнил другое утро, которое выдалось осенью год или два назад. Тогда с них градом сыпались желуди. В листве раздавался треск, и желуди со стуком падали на асфальт, пролетая мимо моей головы. И все это, разумеется, происходило в темноте. Я помню, как сиял на небе серп луны. Стояла ясная ночь или даже утро, повсюду царило спокойствие, и вдруг почувствовалась такая энергия этих плодов, сотрясающих деревья, которая была сравнима с силой грозы или напряжением в родах. Я стоял там, немного озадаченный, и подумал: как все это ново для меня. Я всю жизнь прожил в прерии, а меня до сих пор потрясает дубовый перелесок.

Иногда я чувствую себя, как ребенок, который открывает глаза и видит мир в первый раз и замечает удивительные предметы, названий которых не знает, а потом его вновь вынуждают закрыть глаза. Я знаю, это всего лишь бледное подобие того, что ожидает нас, но из-за этого зрелище не становится менее прекрасным. В нем есть человеческая красота. И я не могу поверить, что после того как полностью изменимся и станем совершенны, мы забудем это фантастическое состояние бренности и непостоянства, большую светлую мечту о рождении и смерти, которая значила для нас так много. Для вечности этот мир будет как Троя, наверное, а все произошедшее здесь будет земным эпосом, балладой, которую распевают на улицах. Потому что я не представляю иной реальности, которая может полностью заслонить эту, и, думаю, будучи человеком набожным, не должен об этом думать.

Вчера вечером умерла Лейси Траш. Не удивительное ли имя? Ее мать тоже звали Лейси. Эта семья жила здесь давно, но из всех Лейси осталась только она, а все Траши перебрались в Калифорнию. Лейси была старой девой. Она отошла в мир иной быстро и подобающим образом из уважения ко мне, как я подозреваю, потому что ее беспокоило мое здоровье. Полчаса она пролежала в сознании, еще полчаса – без, и угасла. Мы прочитали «Отче наш» и Двадцать третий псалом, потом она пожелала услышать гимн «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал» в последний раз, и я запел, а она немного подпевала, а потом начала кивать. Я восхищен ею. Она в принципе поставила для меня такую планку, которой я должен был соответствовать, если можно так выразиться. Как бы там ни было, она не задержала меня до поздней ночи, и умиротворенность ее сна передалась и мне. Эти старые святые благословляют нас при любой возможности.

⁸ Евангелие от Матфея, 18:10.

Раньше мой дед и его друзья любили рассказывать одну историю и потешались над ней. Я не могу поручиться за ее полную достоверность, поскольку они общались в такой манере, которая позволяет мне усомниться, что они разделяли следующее мнение: приукрасить историю – все равно что отклониться от правды.

В любом случае в каком-нибудь всеми забытом маленьком поселении аболиционистов, как здесь, как только люди открывают галантерейный магазин на одной стороне дороги, а конюшню – на другой, они договариваются проложить друг к другу тоннель. Тогда строительство тоннелей пользовалось популярностью, и с особой изобретательностью разрабатывались укромные места и маршруты для бегства. Верхний слой почвы в Айове настолько глубок, что здесь можно прокладывать тоннели большей длины и в большем количестве, чем в менее благоприятных районах, как Новая Англия. В этой части штата почва к тому же содержит большое количества песка, как известно.

Итак, это были разумные люди с благими намерениями. Но они так увлеклись строительством тоннеля, что упустили из виду некие практические моменты. Они вложили в строительство столько сил, что чуть не превратили тоннель в памятник гражданского подземного искусства. Один из стариков говорил, что не хватает только люстры. То, что произошло потом, объяснялось просто: они сделали его слишком большим и чересчур близко к поверхности и не смогли установить опоры, ибо в те дни дерево в прерии было на вес золота и для немногочисленных построек его привозили из Миннесоты. Даже умные люди иногда теряют способность к здравомыслию.

Когда они почти закончили копать, в городе появился незнакомец на большой черной лошади. Он остановился в самом неподходящем месте, чтобы спросить у прохожего, куда он попал, и прямо с лошадью, проломив дорогу, провалился в этот тоннель. Когда пыль улеглась, лошадь встала в этом кратере, который доходил ей до груди. А мужчина спешился и принялся ходить вокруг в недоумении. Он даже не пытался делать никаких выводов, хотя мог бы. А когда пришли люди узнать, что случилось, и заметили, насколько он поражен, они подумали, что им тоже лучше всего изобразить страшное изумление. И они все стояли там, сложив руки на груди, и говорили: «Вот чертовщина», – или нечто подобное, и обсуждали, насколько рискованно ездить на такой большой лошади. Разумеется, бедное животное попыталось выбраться. Кто-то притащил ведро овса, залитого парой бутылок виски, лошадь съела корм и вскоре заснула. Путник пришел в уныние, ибо его лошадь не только попала в дыру, но еще и лишилась сознания. Последнее, похоже, расстроило бы его не так сильно, не будь он трезвенником. А храпящая лошадь, голова которой покоилась на дороге, воистину представляла собой мрачное зрелище, которое он с трудом мог воспринять.

Что ж, такие деяния явились плодом работы людей с высокими религиозными убеждениями, и ведь им не доставляло удовольствия наблюдать, как этот безобидный незнакомец рвет на себе бороду и швыряет шляпу на землю. Хотя какое-то удовольствие они все-таки испытали. Однако им казалось, что лучше всего будет выдворить этого парня из города как можно скорее, чтобы они сами разобрались с лошадью, ибо любой джейхокер, приехавший из Миссури, или охотник за рабами, пробегающий мимо, мог бы истолковать увиденное в свете собственных убеждений и подозрений. Так что один из местных жителей предложил пострадавшему обменять его лошадь на лошадь, застрявшую в яме. Ты можешь подумать, что парень счел эту сделку выгодной, но он еще долго обдумывал ее, сидя на крыльце галантерейного магазина. В обмен ему предложили кобылу размером поменьше, и путник допускал, что это можно расценивать как преимущество. Он попытался рассмотреть ее зубы и был укушен, а потом принялся проклинать невезение, которое привело его сюда, и попросил займы лопату, чтобы выкопать лошадь. И проповедник с серьезным видом заявил ему, что все их лопаты сгнули в страшном пожаре. «Железные части остались, и мы с удоволь-

ствием их предоставим, – заявил он. – Пропали только ручки». Разумеется, он солгал, но исключительно ввиду необходимости срочно спасти ситуацию.

Наконец, незнакомец согласился принять кобылу вместе с седлом, уздой и кое-какими принадлежностями, а также бечевку и предложение почистить сапоги, призванные восстановить его веру во вселенскую справедливость в качестве скудной компенсации за его мучения. И это было весьма благоразумно с его стороны.

Избавившись от него, местные жители могли наконец задуматься, как решить проблемы с лошадей. Несколько мужчин подошли к ней спереди и сзади, чтобы проверить состояние ног, ведь если одна из них была сломана, им пришлось бы пристрелить животное. Потом они могли бы расчленив труп, затащить его под землю и заделать дыру в дороге, придав ей первозданный вид. Но ноги оказались целы.

Раскапывая землю вокруг лошади, они обнажили бы туннель еще больше. Однако они решили, что у них нет иного выбора, кроме как раскопать достаточно, чтобы вывести лошадь из этой ямы. Тем временем она начала просыпаться, ржать и трясти хвостом. И они решили снять с опоры сарай и опустить его на лошадь прямо посреди дороги. Сарай был маленький, поэтому лошадь могла уместиться в нем только по диагонали, так что туловище лошади, по сути, стало гипотенузой для двух прямых треугольников.

Все это кажется нелепым. Но на самом деле одно неверное суждение может быстро создать ситуацию, при которой возможны только глупые поступки. Кто-то заметил, что хвост лошади лежит на дороге, так что пришлось просунуть ребенка в окно сарая, чтобы он втянул его внутрь.

Так получилось, что в это время в селении оказался молодой негритянский парень – первый из беглецов, который добрался в город. Из-за его присутствия люди еще более остро ощущали всю серьезность своего положения и еще больше смущались из-за лошади. Молодой человек, который обычно сидел в галантерейном магазине, если только не появлялись какие-либо причины для беспокойства, все видел и слышал. И было совершенно очевидно, как сильно ему хочется расхохотаться. Ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы сдержаться. Он старался не встречаться с хлопочущими людьми взглядом и почти до крови кусал губы. Когда сарай понесли по дороге и принялись водружать над лошадей наискосок, из магазина послышался резкий, мучительный, невольный взрыв смеха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.